

# ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

## СИБИРИАДА



Бусы  
из плодов  
шиповника

Сибиряда

Владимир Максимов

**Бусы из плодов шиповника**

«ВЕЧЕ»

2023

УДК 821-161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Максимов В. П.**

Бусы из плодов шиповника / В. П. Максимов — «ВЕЧЕ»,  
2023 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8898-6

В новую книгу известного сибирского прозаика Владимира Максимова вошли повести и рассказы разных лет. Неповторимая сибирская природа берегов Байкала, молодые и отважные сибиряки и сибирячки, их порою наивная, чистая, искренняя любовь легли в основу заглавной повести «Бусы из плодов шиповника». В своих произведениях автор с юмором и иронией устами своих героев делится размышлениями о смысле бытия и секретах мироздания. Обладая богатым жизненным опытом, освоив множество профессий на пути к литературному поприщу, В. Максимов раскрывает увлекательные тайны жизни и творчества, вспоминая в том числе и личные встречи с Валентином Распутиным.

УДК 821-161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-8898-6

© Максимов В. П., 2023  
© ВЕЧЕ, 2023

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Бусы из плодов шиповника          | 6  |
| Праздник, который всегда...       | 50 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 54 |

# **Владимир Максимов**

## **Бусы из плодов шиповника**

© Максимов В. П., 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

\* \* \*

## Бусы из плодов шиповника

Они были, на мой взгляд, необычайно красивыми – эти бусы из плодов шиповника, нанизанных на прочную, нетонкую черную нить. Большие, ярко-красные, со слегка продолговатыми весьма крупными ягодами этого колючего растения...

И девушка, которая их носила, была тоже очень красива. Какой-то необычайной, дикой, словно Олеся – девушка выросшая в лесу, из чудесной одноименной повести Куприна, красотой. Только, в отличие от белокурой Олеси, жительницы Полесья, волосы этой девушки были черны, как самая непроглядная ночь, длинны и отливали каким-то таинственным блеском, словно вороново крыло. И с цветом ее волос так контрастировала ее чистая белая кожа лица, и белые ровные зубы, когда она как-то всегда внезапно и загадочно, будто что-то обещая тебе, вдруг улыбалась. Добавьте к этому зеленые – рысьи, со слегка восточным разрезом глаза и, казалось, такие сочные, яркие, пухлые, цвета спелой малины, губы. К этим губам так и хотелось приникнуть своими обветренными всеми байкальскими ветрами за это подходящее уже, увы, к концу лето губами...

Иногда, проходя мимо, или остановившись и не то задумчиво, не то загадочно улыбаясь неясным своим мыслям, девушка рассеяно срывала со слегка поблескивающей нити бус спелую ягоду шиповника и, положив в рот, неспешно начинала ее жевать.

Однако на следующий день бусы девушки, издаലെка напоминающие рубины и так явно контрастирующие и с ее черными волосами, свободно спадающими на спину, и с тонким шерстяным черным свитерком – «водолазкой», плотно облегающей ее стан, снова оказывались целы. И, если продолжить разговор о бусах, то надо сказать, что они не висели на шее девушки, а, скорее, лежали на ее высокой груди, словно просящейся наружу из плена одежд. И их равномерное покачивание на этом желанном ложе, когда девушка проходила мимо, невероятно волновало меня. И так самому хотелось стать этими бусами, которые девушка, всякий раз после нанесенного им ущерба – съеденных ягод, восполняла новыми спелыми плодами шиповника. Благо что шиповник рядом с моим стационаром – одиноким балком (почти на самом берегу Байкала), привезенном сюда по льду озера еще зимой, в конце февраля, и располагающимся на довольно большом расстоянии от красивой деревеньки Большие Коты, где находилась биостанция Иркутского госуниверситета, рос тут повсюду. Особенно много его было на не таком уж высоком берегу безымянного говорливого ручейка, впадающему в Байкал, недалеко от моего стационара. Правда, эти большие, почти непроходимые, заросли шиповника были особенно густы ближе к старинному, совсем малюсенькому кладбищу. Оно как раз и находилось на сухом возвышенном берегу ручья, совсем недалеко от моего походного вагончика, через поляну. Всегда отчего-то ровно выкошенную, изумрудную.

Кладбище не имело ограды. Оно было такое старинное, что распознать его можно было лишь по покосившимся, наполовину трухлявым уже деревянным крестам и заросшим изумрудной травой, почти невидимым бугоркам могил, на которых и рядом с которыми, на просторной поляне, разделяющей мой стационар с сим скорбным местом, росла еще и душистая, крупная, дикая и очень вкусная земляника.

На кладбище, находящемся, как и мой стационар, километрах в трех-четырех от деревни, похоже, лет тридцать уже никого не хоронили. И порою мне, двадцатисемилетнему аспиранту Ленинградского зоологического института, работавшему летом здесь, по договору, с Лимнологическим институтом, даже начинало казаться, что в этом счастливом, таком красивом месте живут бессмертные люди...

Вот, написал эту фразу и подумал, какое же это великое – двойное удовольствие – писать. Рассказывать некую историю другим и... себе. Поскольку ни начала, ни конца описываемой истории ты, как правило, не знаешь, угадывая лишь некоторые туманные контуры повество-



вания. Ибо писательский труд – это нечто таинственное, непознанное до конца. И порою, что бывает нередко, ты чувствуешь, что это занятие дает тебе иногда возможность даже заблуждаться. Но заблуждаться осознанно. Тем более что правда жизни всегда куда сложнее и богаче любой фантазии. О чем говорил, кстати, еще и Федор Михайлович Достоевский, утверждая что: «Самое фантастичное – это действительность». Но все эти невероятно волнующие ощущения, сопутствующие творческому процессу, возможны лишь тогда, когда ты воспринимаешь время не как «стрелу летящую», а как вечный (именно вечный) подарок.

Что же касается сюжетов, то у настоящих писателей сюжет всегда один – это то, что происходит в головах и сердцах людей. Все остальное – так, пошлые старые анекдоты. А анекдоты большинству нормальных людей все-таки мало интересны.

И еще. Когда сам веришь в то, что пишешь, это состояние становится просто неописуемым наслаждением. Тем более что настоящий писатель никогда не копирует жизнь, он ее преобразует, создавая нечто новое, никогда до него не существовавшее. Хотя фантазия и жизнь – это далеко не одно и то же. И именно поэтому любое художественное произведение – будь то новелла, эссе, рассказ, повесть, роман – это всегда все-таки немного миф. Греза, мечта, необязательно имеющая отношение к жизни. О чем говорил Иван Алексеевич Бунин, проговорившись однажды о том, что «Темные аллеи» – это не то, что со мною было, а то, о чем я мечтал». А ведь «Темные аллеи» были одним из любимейших его произведений о любви. И написаны они были во время Второй мировой войны, когда мир как бы обезумел от кровопролития. И в этом обезумевшем мире спасением могла стать только любовь, в самом широком ее понимании. Вот еще, отчего, будто ты бросаешь тонущим людям спасательный круг, так приятно писать о любви, о своих чувствах. Погружаясь в вымышленную, хотя и реальную, действительность – в ту, в которой ты бы хотел жить, а не в той, в которой живешь или жил до того. Отчего и читатель, бывает, потом говорит. Да, в этой книге все, как было. Но только... интереснее, чем было. Как-то увлекательнее, что ли. Вроде что-то немного другое. В этом и есть эффект литературы. А от этого и у пишущего человека нередко появляется некая безграничная, странная свобода, не связанная ни с конкретным материалом, ни с оглядкой на прошлое... Поскольку писатель все-таки творит будущее. И все у него идет в дело! Все, что он знает. Все, оказывается, можно переплавить, – как говорил с некоторой иронией о себе Александр Чудаков, автор прекрасного романа «Ложиться мгла на старые ступени», – «в чеканную маловысокохудожественную прозу».

Однако надо иметь в виду, что культура, к которой в первую очередь относится литература – на которой, как на основательном фундаменте, в общем-то, и строятся все остальные жанры искусства (театральные спектакли, кино, даже балет – все это имеет, прежде всего, литературную основу) – это система табу. И, пожалуй, никогда еще не существовало такого времени, когда бы отменили все табу. За исключением, по-видимому, только нашего времени, когда по образному определению философа Панарина: «Наша эпоха стала временем предельной порчи человечества». Оттого, наверное, за культуру сейчас выдают все что ни попадя. Рок-музыку, попсу и прочую дрянь, к искусству никакого отношения не имеющую. Я не против всего этого. Раз есть любители – пусть слушают, смотрят, наслаждаются. Но необходимо, чтобы хоть иногда всем этим любителям и участникам так называемых современных шоу кто-то говорил, что все это к искусству никакого отношения не имеет. Это нечто другое. Да, мир становится абсурднее и хаотичнее. Или, по выражению Карамзина: «Все думают теперь не об истине, а исключительно о пользе своей...» Но писатель не должен это рабски отражать. Он должен держать в душе своей идею сдерживающей гармонии, чтобы все не рассыпалось уж совсем на мелкие, не собираемые, кусочки. Ибо дилер киллеру, если переделать старую пословицу («Ворон ворону...») на новый лад, глаз не выключает. И еще надо знать, как это сказано у Томаса Манна, что: «Кто не против зла резко и до конца, тот в какой-то степени за него». И помнить надо, что в конечном-то итоге не писатель служит эпохе, а эпоха служит ему. И

хотя всякая литература условна, тем не менее настоящий литературный шедевр редко бывает бесстыдным. Несмотря на то, что писательство – это занятие, в какой-то мере все-таки весьма интимное...

Извини уж, дорогой мой, впрочем, как всегда, лишь гипотетический – предполагаемый читатель, что я отвлекся от основного сюжета на столь пространное размышление о творческом процессе в целом и о писательском труде, в частности...

Итак, в начале нашего рассказа мы заговорили о том, что очень красивая девушка по имени Галина Соболевская носила в виде осеннего украшения (а была уже почти осень – конец августа) весьма оригинальные – красные бусы из плодов шиповника, которые так гармонично сочетались и в то же время контрастировали с ее черными волосами и тонким черным шерстяным свитерком – водолазкой. Получалось почти классическое, по Стендалю, с его одноименным романом «Красное и черное», сочетание.

С Галиной и ее подругой – естественной блондинкой (еще один контраст) Светланой Николаевой, очень веселой, легко воспринимающей жизнь со всеми ее крупными и мелкими невзгодами девушкой я познакомился около месяца назад. В начале августа.

К тому времени небольшая, но очень опрятная, даже можно сказать красивая, деревенька Большие Коты, расположенная в основном вдоль широкой пади, некогда золотиносной речки Котинки, впадающей, как и множество других рек, речушек, ручьев, в Байкал, в одночасье пустела. Из нее в город выезжали, чуть ли не последним пароходом студенты – биологи первого и второго курсов Иркутского госуниверситета, проходившие здесь ежегодную летнюю, почти двухмесячную, практику.

И когда этот веселый, кажется, никогда не унывающий народец вдруг покидал деревню, в ней самой и на биостанции становилось непривычно пусто, без звонкого смеха и постоянного веселого гомона. И создавалось впечатление, что с побережья будто бы исчез цветной цыганский табор. Все затаивалось до следующего безумного лета, когда орды новых беззаботных молодых людей вновь высадутся с кораблей на этот берег.

А если учитывать, что примерно 80 процентов студентов биолого-почвенного факультета госуниверситета составляют девушки – беззаботные и красивые, то сразу станет ясно, какой великолепный «цветник» бывает здесь летом. И вся деревенька и ее окрестности наполняются не только любознательными биологинями, которых так и хочется за их красоту и свежесть назвать биобогинями (подобно очаровательным древнегреческим богиням), но еще и песнями под гитару у костерка на берегу Байкала по вечерам, смехом, шутками, безудержным весельем молодости, когда жизнь еще кажется им всем бесконечной.

В первой декаде августа, как я уже сказал, весь этот карнавал мгновенно затихал и в деревне становилось непривычно тихо, пустынно, словно по ней прошел мор, а на душе отчего-то делалось настороженно, словно в предчувствии близкой беды.

Немногочисленные сотрудники биостанции по-прежнему занимались своими обычными привычными делами. И их почти не было видно. Местные жители тоже не особо мелькают перед глазами – у каждого из них тоже свои житейские дела. Да и совсем немного их тут – местных жителей, где центром всего является все-таки биостанция госуниверситета. Со своим административным корпусом и, наверное, десятком лабораторных разного размера изб и избушек.

Административный корпус биостанции – добротное, старинное, бревенчатое одноэтажное, сработанное не без определенного изящества, здание, построенное еще в тридцатых годах прошлого века, стоит на пологом подъеме. Как раз напротив биостанцевского – сделанного буквой «Г», причала, с каркасом из бревен, заполненным камнями. Внутри этого причала, в тихой заводи, после научных многодневных и многонедельных рейсов отдыхают суда биостанции «Профессор М. М. Кожов», «Натуралист» и «Космос». Зимуют они тоже здесь...



Для студентов в некотором отдалении от основных лабораторных корпусов биостанции, разбросанных по этому же пологому склону, выстроено два больших бревенчатых, почерневших от солнца и времени общежития – со множеством комнат и комнатках в них. В которых могут размещаться от четырех – шести до пятнадцати – двадцати человек неутомной студенческой братии. И рядом с этими вытянутыми вдоль склона корпусами-общежитиями, построена еще и столовая, с соответствующей надписью, придуманной и прикрепленной над высоким двускатным – царским прямо-таки крыльцом (с чудесным видом с него на Байкал), оцинкованным светлым листом железа, на котором черной краской готическим шрифтом выведено: «Корчма прожорливый гаммарус».

Но все это – и корпуса общежитий, и «Корчма прожорливый гаммарус» – оживает и заполняется только летом, примерно, с середины июня до начала августа.

Сейчас же иногда лишь прожужжит где-то вдали шмелем моторка. И это значит, что кто-то из местных жителей отправился «в море», как называют Байкал аборигены, на рыбалку – ставить или снимать сети.

Стихнет в сини небес и воды мотор. И снова все окружающее тебя пространство наполнится полусонной тишиной. И в этой тиши, продолжая делать свое дело, остается только вспоминать свои летние короткие романы с молоденькими студентками, слетающимися (как мотыльки на свет) вечерами на костерок, разведенный на поляне у моего балка. Да еще всех этих девушек манит сюда не только огонь, но и грустный перебор гитарных струн...

А теперь, проходя мимо (если тебе нужно сходить на биостанцию или в деревенский магазин) закрытых, законсервированных, на зиму длинных домов общежития и «Корчмы прожорливый гаммарус», тебе вдруг сделается так грустно и одиноко. И ты понимаешь, что все это безлюдье здесь будет всю осень и зиму...

Именно в такое время – «мертвого сезона», в одну из лабораторий биостанции, где я, по согласованию с руководством университета, тогда работал на пламенном фотометре (которого у меня на стационаре не было), ко мне, в небольшой бревенчатый домик из трех комнат и прибежал мой однофамилец – штатный водолаз биостанции Саня Ветров. Возбужденно он сообщил мне радостную новость о том, что к Ольге Сокольниковой (недавней выпускнице университета, ныне работающей на биостанции лаборантом) приехали две совершенно очаровательные (Саня аж причмокнул от восторга, сообщая мне это) девушки – блондинка и брюнетка!

– Дело в том, что они обе учатся на вечернем отделении биофака, и летней практики у вечерников здесь, в Котах, не бывает. А на природу-то хочется, – продолжал информировать меня Александр. – Ну, вот они и прикатили к своей подруге Ольге. Тем более что ей на биостанции свое жилье выделили. Она меня, кстати, и послала к тебе. Приглашает нас вечером на ужин. С меня – вино. С тебя – песни. Помнишь, какие ты летом у костра возле своего стационара концерты устраивал?! Скольких глупеньких девчонок охмурил, – довольно захихикал Саня, тоже мой частый летний вечерний гость. – Одним словом, давай, встречаемся к шести у меня в водолазке. И оттуда – в путь. На покорение сияющих вершин! Успеешь до этого времени освободиться? – спросил он, уже собираясь уходить.

– Успею, тем более что ужин сегодня, как я понял, мне готовить не придется, – ответил я. – За гитарой только в балок после дел моих скорбных сбегая и – к тебе. И еще давай сразу договоримся. Блондинка, чур, моя. Я, знаешь ли, со школы всегда отдавал предпочтение голубоглазым светловолосым девушкам скандинавского типа. Нравится мне их холодная красота, в отличие от восточных, черноволосых пылких красавиц. У меня даже Серега, не поверишь, с боку на толстой светлой рифленой подошве ботинка, с внешней его стороны, из пижонства, конечно, в старших классах шариковой ручкой было выведено: «Блондинки – моя стихия».

– Договорились, – легко согласился Саня. – Вам – яйцеголовым ученым, что посветлее. А нам – черной косточке, и чернавки сойдут...

Когда мы вечером пришли к Ольге Сокольниковой – ужин в ее просторной, светлой комнате, с единственным, но весьма широким окном на Байкал был уже готов.

В большой металлической миске на круглом столе парила, сваренная целиком, крупная картошка.

Омуть был почищен, освобожден от костей и нарезан солидными аппетитными кусками.

Кроме того, на столе красовался тонко нарезанный сыр, салат из свежих овощей и черный хлеб.

Войдя из полутемных маленьких сеней, где мы сняли куртки и обувь, в чистенькую, опрятную комнату Ольги, мы с Саней со всеми поздоровались, и он галантно выставил на стол три бутылки сухого белого вина, сказав при этом:

– Угадал я, что белое, а не красное взял. К рыбе надо белое.

Продemonстрировав, таким образом, свое незаурядное знание в гастрономических тонкостях этикета, он тут же предложил Ольге свою помощь.

– Да ничего вроде уже не надо. Хлеб только порежь и бутылки открой. Штопор в ящичке стола на кухне, – кивнула Ольга за печку, где у нее находилась небольшая кухонька.

Приезжие девушки – подруги Ольги, казалось, никого и ничего не замечая, сидели на лавочке у белой, словно лебедь, беленой стены печи и о чем-то вполголоса говорили.

Пристроив гитару на старое, с потертой на подлокотниках тканью, кресло в углу комнаты, я еще раз уже более внимательно, стараясь, впрочем, чтобы это было незаметно, оценивающим взором оглядел приезжих девушек. И понял, что я бесповоротно, притом нешуточно, что говорится, с первого взгляда влюбился... в брюнетку.

– Все к столу! – скомандовала высокая энергичная, худощавая и отчего-то всегда с минорными, как печальная театральная маска, чертами лица, хозяйка дома.

Мы дружно, с веселыми репликами и шутками, расселись за круглым, тоже старым и старинным столом, стоящим посреди комнаты, доставшимся Ольге, как и вся прочая мебель, от прошлых хозяев, года два назад, перебравшихся куда-то из Больших Котов и продавших свой дом биостанции.

Я оказался между Ольгой и веселушкой Светланой, а Саня, галантно поинтересовавшись: «Вы не возражаете?» (на что девушка только неопределенно пожала плечами), подсел, к сидящей чуть в стороне ото всех, напротив нас, Галине.

Неспешный ужин, наверное, не только из-за хорошего вина и отменной, вкусной еды, а по большей части из-за нашей молодости, энергии, бьющей через край, как открытое шампанское из бутылки, получился непринужденным и веселым. Причем на наши с Саней импровизированные шуточные реплики по ходу общего разговора Светлана с Ольгой (если нам удавалось попасть в точку) смеялись прямо-таки враскачку, от всей души. А Галина – сдержанно, словно боясь расплескать свою радость.

После ужина, убрав с помощью девушек со стола лишнюю посуду в свою кухоньку за печкой, Ольга попросила меня что-нибудь спеть.

– А то я уж все уши девчонкам прожужжала, нахваливая тебя и твой репертуар, – дополнила она свою просьбу лестными для меня, может быть, и не вполне заслуженными, комплиментами. Хотя, если говорить объективно, я и сам понимал, что пел и аккомпанировал на гитаре я весьма неплохо. Да и репертуар у меня был действительно стоящий. Безо всякой пошлятины и блатоты. – Так что ты уж порадуй нас, – продолжила Ольга, усаживаясь на стул за прибранный стол, – бедных одиноких девушек своим сладкозвучным песнопением, – картинно вздохнула она, явно намекая мне на наши несостоявшиеся летом отношения, несмотря на нешуточное с ее стороны упорство в этом вопросе.

Усевшись на лавочке у теплой (видимо, днем Ольга топила печь) белой печной стены, я, пожалуй, не менее часа исполнял свои любимые, в основном бардовские, песни, авторов

многих из которых не знал. «Под музыку Вивальди», «Диалог у новогодней елки» на стихи очень хорошего поэта, жившего некогда в Иркутске – Юрия Левитанского, «Я вас люблю мои дожди...», «Капли Датского короля» Булата Окуджавы и многие другие...

Ольга, как всегда, слушала меня очень внимательно, с мечтательным взором, подперев подбородок руками, упирающимися локтями в стол.

Галина тоже, казалось, не пропускала ни одного моего слова и аккорда, но слушала как-то рассеянно, сидя в кресле в теневом углу комнаты, на котором до этого покоилась моя гитара. Казалось, она погружена больше в свой внутренний, а не внешний мир.

А мне так хотелось от нее сочувственного или даже влюбленного взгляда, поскольку, видя ее только краем глаза, я пел в основном для нее: «Там, где клен шумит над речной водой, говорили мы о любви с тобой. Облетел тот клен, в поле бродит мгла. И любовь, как сон, стороной прошла...»

Александр со Светой сидели почти напротив меня, на лавочке у окна. И за их спинами, через стекло с длинным перекрестием, я мог видеть, как над Байкалом в тускнеющем небе повисла грустная луна, освещая своим бледным, таинственным светом серебристые воды предночного Байкала и песчаную, тонкую, как серп, косу перед ним при впадении в озеро реки Котинки.

И этот какой-то почти нереальный, безмолвный свет луны и белая кожа Галины неведомым образом представлялись мне отчего-то некой идеальной гармонией. Словно эта загадочная для меня девушка и сама была соткана из лунного света. И чем-то она напоминала мне белолицых панночек, так чудесно описываемых в своих волшебных произведениях Николаем Васильевичем Гоголем.

Спев очередную (неведомо уже какую по счету) песню и не начиная новую, я спросил Ольгу, как хозяйку:

– Может быть, достаточно? Или, как говорится: «Хозяева, не надоели ли вам гости?» Да и время уже раннее.

Спрашивая все это, я, конечно же, в какой-то степени кокетничал, поскольку чувствовал, как внимательно все слушали меня. Но, ожидая ответа, все же волновался. Мне так хотелось, чтобы Галина попросила меня попеть еще.

Ольга, ничего не отвечая и будто слушая ритмичный перебор гитарных струн, вопросительно посмотрела на Галину, обернулась к Александру и Светлане...

– А можно еще, хоть немножко? – просительно проговорила Света. – Такие славные у вас песни. И так вы хорошо поете их. И вдруг решительно встав с лавки, она быстро подошла ко мне и нежно приложила губами к моей, увы, дня три уже небритой щеке, усевшись затем рядом со мной на лавке, чуть поодаль с правой стороны, так, чтобы не мешать моей руке перебирать гитарные струны.

– Да, пожалуйста, если вы не устали, конечно, спойте что-нибудь еще, – подала из своего угла голос и Галина...

Я пел еще минут сорок. Посылая, как мне казалось, некие невидимые импульсы этой очаровательной девушке, задумчиво сидящей в кресле в углу комнаты. Словно выстраивая невидимый прозрачный, но такой хрупкий, стеклянный мост, соединяющий разные берега, разделяющей нас с ней реки. И, самое главное, я чувствовал, что движение по этому невидимому прозрачному мосту уже не одностороннее, а двустороннее – навстречу друг другу. И мне казалось, что Галина понимает и меня, и мои чувства к ней, внимательно слушая слова, слегка опустив глаза...

– Все, девчонки, хватит! – наконец сказал я. – У меня уже пальцы левой руки одеревенели, не слушаются и не хотят держать на грифе нужные аккорды. Так что на сегодня, думаю, достаточно. А то начну фальшивить...

– А фальшь – это ведь всегда так неприлично и неприятно, не правда ли? – вдруг спросила Галина, устремив на меня внимательный взгляд своих зеленых, как омуты, глаз.

– Мне кажется, что вы сами и ответили на свой вопрос, – сказал я, пряча гитару в чехол.

– Может быть, еще чайку на посошок, как говорится? – спросила Ольга.

– Давайте лучше на посошок выпьем по бокалу вина, – предложил Саня. – Там у нас еще осталось.

Все с удовольствием выпили. Захрустели сочными дольками яблока, разрезанного и оставленного Ольгой на деревянной разделочной доске на столе. И было видно, что расставаться никому не хочется. Но надо. Ибо все имеет свой предел...

Взяв зачехленную гитару и стоя уже у двери, я попрощался:

– Всем спасибо за внимание и, как говорится, до свидания.

– А вы к нам еще придете? – спросила Галина, переведя взгляд на Ольгу.

– Если пригласите, обязательно приду, – улыбнулся я ей.

– А можно вас, маэстро, до калитки проводить? – неожиданно предложила Света, при этом загадочно и многообещающе улыбнувшись мне.

– Можно! – вместо меня энергично ответил гаденыш Саня. – Он любит, когда его девушки провожают, причем, не только до калитки, но и далее. До его берлоги у кладбища.

Света по-прежнему вопросительно смотрела на меня, и я решил отделаться шуткой:

– Вообще-то, в быту я прост и доступен, так что провожать меня никому не возбраняется.

Зря я это сказал, сто раз потом об этом пожалел.

– И на сколько же вы в быту доступны? – презрительно, как мне показалось, скривив губы, спросила Галина.

Я ничего не успел ей ответить, поскольку снова встрял Саня:

– А давайте, Галина, выпьем с вами на брудершафт, чтобы перейти на «ты» и быть более доступными.

– Я с малознакомыми людьми на брудершафт не пью, – сдержанно, но с чувством собственного достоинства ответила она.

– А я бы с вами, маэстро, на брудершафт выпила, – подхватила Санину мысль Светлана.

Положение было неловкое, и я не знал, как из него выпутаться, чувствуя себя так, словно попал в тонкую, почти не видимую глазом, но прочную сетку паутины.

– Как-нибудь в другой раз непременно выпьем, – ответил я славной девушке, решительно толкнув дверь в сени, за которыми уже была свобода.

Но, не дойдя до недалекой от крыльца дома калитки, услышал за спиной поспешные шаги.

– Что же вы меня не подождали, маэстро? – капризно произнесла Светлана, догнав меня и взяв под руку. – Пока я курточку одевала, вы исчезли. Вы так со всеми девушками поступаете или только со мной? – уже кокетливо, спросила она.

Через калитку в Ольгином палисаднике, пропустив Светлану вперед, мы вышли уже, можно сказать, как неразлучная пара.

Молча, прошагав метров триста, дошли до пристани биостанции, бревна и доски которой были будто подсвечены изнутри лунным светом. И, судя по всему, Света совсем не собиралась, шагая со мною под руку, прекращать наше совместное движение. Хотя калитка, до которой она собиралась меня проводить, осталась уже далеко позади. К тому же она довольно плотно прижалась к моему боку своим горячим боком (мы были с ней почти одного роста, поскольку я далеко не гигант), что ощущалось даже через ее и мою легкие курточки.

Положение, во всяком случае для меня, было явно двусмысленное.

С одной стороны, я чувствовал, что вроде бы по уши влюбился в Галину. Но там все было еще так зыбко, непредсказуемо, неопределенно, проблематично...

А здесь симпатичная девушка, готовая, кажется, продлить нашу встречу хоть до утра. Будто Жар-птица сама просится тебе в руки.

И все же, преодолевая уже накатывающее на меня, как легкое опьянение, безудержное желание молодости, когда хочется жить счастливым моментом – здесь и сейчас, ничего не загадывая на потом, я, хоть и не без труда и внутреннего колебания, высвободив свою руку, произнес:

– Света, спасибо, что проводили меня. Дальше я уж сам как-нибудь доберусь. А то, если вы дойдете со мною до кладбища, мне потом придется вас до дому провожать, поскольку вы можете сказать, что вам страшно возвращаться по темноте одной.

– Но можно ведь не возвращаться по темноте вообще? – откровенно глядя мне в глаза, игриво и заманчиво улыбнулась Света. – Мы ведь уже достаточно взрослые люди. Кстати, а почему мы не выпили с вами на брудершафт? – снова спросила она. – Были бы сейчас на «ты». – И тут же предложила: – Может быть, выпьем для этого байкальской воды из ладоней друг друга?

– А разве для того, чтобы перейти на «ты» или поцеловаться, надо обязательно что-то пить? – поддержал я ее, как мне казалось, только игру.

– Необязательно, – ответила Света, вдруг крепко и порывисто обняв меня.

Нелепый этот и необязательный поцелуй, когда я даже ничего толком сообразить не успел, был тем не менее довольно продолжительным. И упоительным и сладостным настолько, что чувства, а точнее, инстинкты, казалось, уже стали преобладать над разумом. Может быть, еще и оттого, что на Светином месте я представил себе в сей миг Галину.

А потом почти без ауз, один поцелуй последовал за другим...

«Прямо пулеметная лента какая-то, – мелькнуло у меня в голове. И девушка, как будто чапаевская Анка-пулеметчица, всаживает и всаживает в цель одну пулю за другой длинной очередью»...

«К счастью, вместе с разумом самоирония все же не покинула меня», – успел подумать я. И уже некими остатками разума я обнаружил, что мои руки вольно блуждают под неведомо когда и кем расстегнутой кофточкой Светланы, чувствуя атласную гладкость ее кожи и упругость груди. И сдерживаться нам обоим становилось все сложнее. Да еще на этом ночном, таком таинственном причале, облитом лунным загадочным светом, о который тихо ударились байкальские волны и где мы были совсем одни. И нас никто, скорее всего, не мог видеть. Однако и я чувствовал это с какой-то горчинкой, чувства мои были раздвоены, точно змеиное жало. С одной стороны, я ощущал себя почти предателем, по отношению к Галине. А с другой стороны, чувствовал опьяняющий молодой восторг. Свой и Светланы...

Наверное, то же самое чувствовал в глубине души и молодой Санин из повести Тургенева «Вешние воды» в подобной ситуации по отношению в Джемме, которую любил, но тем не менее не сумел устоять перед натиском и порочным очарованием опытной в любовных делах светской львицы...

– Пойдем к тебе, – прерывисто дыша, проговорила Светлана.

– Нет, не сегодня, – едва не согласившись, ответил я, тоже переведя дыхание и будто бы слегка трезвея от этого охватившего нас обоюдного безумия.

– Почему не сегодня? – спросила Светлана, непонимающе взглянув на меня.

– Не хочу подвергать твою репутацию всеобщему осуждению. Ведь мы же почти не знакомы, – не нашелся я что ответить.

Хотя и понимал, что настоящая причина в ином. В Галине, по отношению к которой я чувствовал себя сейчас словно нашкодивший кот. А мы со Светланой и так уже провожались неоправданно долго. За это время можно было уже сто раз дойти до калитки, до которой Светлана намеревалась меня проводить, постоять возле нее и вернуться домой.

– Хорошо, – тоже успокаивая дыхание, как-то даже до обидного для меня равнодушно, проговорила Света. – Если дело только в этом, я завтра после твоей работы (во сколько, кстати, она у тебя заканчивается?) приду к тебе, и мы как следует пошалим. Ты не против, надеюсь, такого плана? И репутации моей это никак не повредит, поскольку ночевать я вернусь домой. Хотя о репутации своей я и сама вполне могу позаботиться.

Я ответил, что заканчиваю работу в шесть. И мы даже как-то поспешно, будто боясь натворить новых глупостей, расстались, зашагав от причала в разные стороны...

На следующий день я старался как можно дольше задержаться в лаборатории биостанции, надеясь на то, что наша встреча со Светланой, может быть, не состоится. А вспыхнувшая внезапно страсть уляжется сама собой. Одним словом, «все как-то рассосется».

Но, придя часам к шести вечера в свой балок (закрывающийся у меня снаружи на щепку, когда деревню покидали студенты и на моем краю крайне редко появлялись посторонние люди, да и местные тоже), я обнаружил его идеально прибранным. С полевыми цветами на столе у окна, стоящими в стеклянной трехлитровой банке, наполненной прозрачной водой.

В «кухоньке», за перегородкой, напротив входной двери, в проеме которой я невольно остановился, пораженный столь идеальной чистотой моего жилища, на газовой плите что-то шипело, и вкусно пахло едой. Судя по всему, на моей немалых размеров сковородке готовилась фасоль с тушенкой и луком. А еще пахло гренками.

– Привет! – выглянула из-за перегородки на звук открывшейся двери Светлана и снова скрылась за ней.

Через минуту, вынеся и поставив на стол в жилом отсеке на специальную деревянную подставку сковороду с едой и тарелку с гренками.

– У тебя есть что-нибудь выпить? – спросила она, обернувшись ко мне, все еще стоящему у входной двери, словно я пришел не к себе. – Не догадалась, перед тем как отправиться сюда, забежать в магазин и купить какого-нибудь вина. Кстати, раз уж ты... – Света безо всякого брудершафта легко перешла на «ты». Хотя, еще вчера мы были с ней на «вы». И мне, в связи с этим, припомнилась какая-то полузабытая песенка. В которой были, в том числе и такие слова: «Зачем мы перешли на «ты»? – так заботишься о моей репутации, – продолжила Света, – для всех прочих я отправилась на прогулку в падь Сенную. Поскольку мне внезапно захотелось побыть одной. А до этой пади, как ты знаешь, путь неблизкий. Так что часа три, как минимум, у нас с тобой в запасе есть».

– У меня только спирт, – запоздало ответил я Светлане, наконец-то сняв и повесив на вешалку у входной двери свою куртку и тоже пройдя в жилой отсек, подумывая при этом – не разуться ли мне, сняв кроссовки. Настолько чисто было кругом, с двумя нижними рундуками вдоль противоположных стен и двумя висячими над ними, как в вагоне дальнего следования полками, за ненадобностью откинутыми и закрепленными, и длинным столом между рундуками.

– Ну, что ж, буду как Маргарита из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», – блеснула Света своей начитанностью, поскольку в то время, в семидесятых годах прошлого, XX века, этот роман было трудно достать, – пить спирт. Может быть, это даже лучше. Крепкие напитки быстро отключают разум, лишая нас ложной стыдливости. А вы, кстати, сударь, – снова вдруг перешла она на «вы», – случайно не Мастер? Не пописываете на досуге роман?

– Я, Светочка, романы не пишу – я их делаю, – ответил я, стараясь попасть ей в тон.

Светины предположения насчет спирта, в чем мы вскоре убедились, оказались верными. И помнится, что, расслабленный после вкусной еды и выпивки, я уже не противился ни настойчивым поцелуям Светланы, ни чему-то иному, успокаивая свою совесть фразой: «А, снова живем!»

И все, затем случившееся (тем более что изнутри на входной двери у меня все же имела прочная задвижка, которую я запираю на ночь и о которой вспомнил, защелкнув ее, перед



тем как мы со Светой расположились горизонтально на моем рундуке) было, действительно, необычайно, как-то невесомо, словно в волшебном сне. Где все возможно, безо всяких ограничений и законов физики, например, о всемирном тяготении. Да, тяготение было, но совсем другого рода. Друг к другу. И все было так прекрасно, легко, свободно. И даже запах керосина от задутый мною в последний момент лампы, висящей над столом, не раздражал.

А нагота Светы сама, казалось, излучала свет. Необъяснимый, нереальный, похожий на лунный, проникающий в балок из квадратного окна над столом и освещающий на нем только цветы в трехлитровой банке с водой, в которой играли лунные блики. (Посуду и сковороду с остатками еды и гренки Света после ужина успела поспешно убрать на кухню). А ее ненасытные, непредсказуемые, все новые изыски изнурили и радовали нас обоих. И полный покой потом, и полная, казалось, опустошенность, когда мы молча лежали рядом, взявшись за руки и прильнув друг к другу. На таком, в общем-то, совсем нешироком пространстве рундука, что даже и не верилось в то, что на нем можно было производить такие немыслимые кульбиты, которые совсем недавно исполняли мы, не боясь свалиться с него на пол. И каждый, вглядываясь в полутьму, думал, наверное, о чем-то своем, сокровенном. И молчание было нетягостным. И раскаяния, во всяком случае, у меня тоже в тот момент не было. Хотя порой мне так хотелось, чтобы ничего того, что было с нами, на самом деле не произошло. И в то же время ощущение выигранного сказочного приза, подаренного непредсказуемой, капризной судьбою, у меня тоже было.

И я уже как-то лениво, полусонно размышлял о том, что «Неужели страсть – сильнее любви?» И если это так, то человек, в первую очередь, животное, а уж потом только – разумное существо. Прав, прав был Федор Михайлович Достоевский: «Широкий человек. Слишком даже широкий. Я бы сузил...» И с какой-то невосполнимой печальной горечью и запоздавшим покаянием думалось о том, что Галина вряд ли простит мне все это. Это предательство, эту фальшь. И выходит, что я сам, своими руками, задушил только что зарождавшееся, такое неясное еще, но такое желанное чувство. Поддавшись всепоглощающей, словно цунами, безудержной страсти...

– Тебе было хорошо? – негромко, устало и удовлетворенно спросила Света.

– Да, – не стал я лукавить, не сказав, впрочем, всей правды о своих сомнениях в правильности того, что с нами произошло. – А тебе?

– Мне было просто волшебно! В иные моменты мне даже казалось, что я сейчас умру, что душа моя покинет тело. И, знаешь, я не боялась этого, а даже как будто желала.

Мы снова замолчали. Слыша за стенами вагончика негромкий, неугомонный шелест ритмично накатывающих на берег волн.

– Может быть, мне остаться? – через какое-то время спросила Света.

– Нет, не надо, – твердо ответил я, смягчив свой ответ тут же придуманным предлогом. – У меня завтра очень трудный день. Много срочной работы. Мне надо, как следует, выспаться. А с тобой мне это вряд ли удастся, не так ли? – повернулся я к Светлане.

– Пожалуй, – ответила она и попросила: – Только проводи меня до пристани. Я боюсь идти мимо кладбища.

– Конечно, провожу, – ответил я, и, словно выполняя какой-то обряд, поцеловал ее в щеку, совсем не понимая, зачем это делаю. Ведь закреплять наши сегодняшние отношения я не собирался. Более того, я собирался их решительно прервать. И что это за сила инерции такая? Эта постоянная полуправда, полужошь?

– Ну что, тогда в путь? – покорно согласилась Света. – Или еще полежим?

– В путь, – снова решительно ответил я...

Уже в темноте мы дошли до причала биостанции. Поцеловались. Но не страстно, как это было, здесь же вчера, а спокойно, будто даже устало. По-видимому, всю нашу страсть мы

успели исчерпать за те несколько часов, что были вместе, почти единым целым в моем балке, на отшибе поляны под горой.

– Пока, – сказал я Светлане, стараясь придать своему голосу мягкости.

– Прощай, – ответила она. И, после короткой паузы добавила: – Я завтра уезжаю в город. С дачи возвращаются родители – их надо встретить. И я рада тому, что все у нас случилось так стремительно и так, как я хотела. В городе бы так не получилось...

– Ты уезжаешь одна или с Галиной? – все-таки не удержавшись, спросил я.

– Одна, – ответила Светлана спокойно, видимо, не заметив моей заинтересованности. – Она еще планирует недельки полторы побыть здесь. Тем более что вроде бы собирается научиться погружаться с аквалангом. И я случайно слышала вчера, как Александр приглашал ее для этого к себе в водолазку.

Я с каким-то холодком в груди вспомнил этот нехитрый, но столько раз безотказно срабатывающий летом прием Александра. Пригласить девушку в водолазку. Показать ей компрессор для закачки баллонов акваланга, прочее водолазное оборудование. Костюмы – мокрого и сухого типа, сами акваланги. После чего предложить приглашенной... раздеться в соседней маленькой комнатке, где он поможет ей затем облачиться в водолазный костюм. Лучше – мокрого типа, поскольку в нем под водой гораздо удобнее, но который надевается на голое тело. А потом... Одним словом, до погружений доходило не всегда. А точнее, почти всегда не доходило. Причем никакого насилия. Все по обоюдному согласию. Только немного напора, обаяния и умения в подобных делах, чего Александру было не занимать. И даже если при одевании костюма, где без посторонней помощи обойтись все-таки можно, и ему не сразу удавалось достичь желанной цели, то при стягивании мокрого, будто прилипшего к телу, костюма после погружения, когда сначала «для сугреву» предлагалась рюмочка коньяка, все, как правило, заканчивалось тем, чего, по большому-то счету, желали обе стороны. И очень немало наивных студенток, побывавших летом в его владениях на берегу Байкала, невдалеке от причала, провели там немало счастливых и безумных часов. Особенно тогда, когда им предлагалось наиболее романтичное ночное погружение. С подводным фонарем, высвечивающим сонных обитателей озера и заросли зеленых разлапистых губок на склоне, уходящем в неимоверную глубину. И когда ты через толщу прозрачной воды можешь видеть ночное бархатное небо, усеянное синими, огромными здесь, над Байкалом, звездами.

Впрочем, у большинства приглашенных дело до ночных погружений тоже обычно не доходило, оставляемое на: «Как-нибудь потом, в следующий раз...» Зато иных, не менее захватывающих, ощущений было через край. В столь уютной, по-армейски чистенькой Саниной водолазке с широким топчаном в углу одной из трех небольших комнаток. Ко всему прочему Саня был хлебосолен и нескуп. Нескуп, в первую очередь, на комплименты девушкам, предлагая при этом: «Чай? Кофе? Рюмочку коньяка?» Умел быть нежным. К тому же от природы он был остроумен и ловко пользовался всеми этими своими качествами, склоняя неопытных девушек, неосознанно жаждущих чего-то необычного и романтичного в этой своей нынешней – только что начавшейся, самостоятельной жизни. Да еще в таком чудесном, сказочном месте, если уж не к ответным чувствам, то к ответным действиям точно...

«А может быть, так даже лучше, – с какой-то неизъяснимой тоской и даже почти безысходным отчаянием подумал я, представив не совсем одетую (мягко говоря) Галину в объятьях Александра. – Все встало на свои места. И мне поделом. Не надо гнаться за двумя зайцами сразу. И даже хорошо, что Света уезжает. Ничего уже не хочу. Ни любви, ни ненависти. Ничего-го...»

Отчаяние все-таки преобладало.

– Будешь в городе, звони, – вернула меня Светлана к действительности, сунув в карман моей куртки сложенную бумажку с номером домашнего телефона...

На следующий день, прямо с утра, по дороге в лабораторию я завернул к Сане в водолазку, часть которой стояла на круто сбегавшем к Байкалу берегу (где и была входная дверь), а вторая часть нависала над водой, держась на бетонных сваях. И из нее можно было выйти на небольшую деревянную площадку, с которой прямо в воду была опущена металлическая лесенка с блестящими на солнце перилами и круглыми ступенями. С этой лесенки обычно и совершались погружения. Тем более что глубина под последними двумя ступенями, находившимися уже в воде, была метра четыре, не менее. Хотя и дно, и все камушки на нем из-за идеальной прозрачности воды были отчетливо видны. И казалось, что глубина здесь не больше метра.

Саня пил кофе, сглаголив его в алюминиевой кружке на спиртовой горелке.

– Привет! – сказал я, стараясь говорить как можно беззаботнее.

– Привет, – не очень приветливо, впрочем, отозвался он, спросив затем: – Кофе будешь?

– Можно, – ответил я, усаживаясь на табурет у небольшого, откидного столика под окном и стараясь на Санином лице обнаружить приметы минувших страстей. Например, темные круги под глазами от бессонной ночи. Однако ничего такого, кроме, пожалуй, скуки, его лицо не выражало.

– Тогда бери вон в том бумажном пакетике, – кивнул он на полку над столом, продолжая сидеть на краю лежака, за тем же маленьким столом у окна, – кофе. Я только что его намолот на ручной мельнице. Чувствуешь, какой аромат?

– Чувствую, – ответил я, вставая и делая шаг к хозяйственной полочке, висящей на стене, на которой кроме бумажного пакета с кофе стояло еще две зеленых эмалированных кружки, несколько стеклянных рюмок и лежали две маленькие ложки. Все это было отгорожено на полке от падения невысоким барьерчиком из деревянной рейки.

– Вода в ведре, у двери. Я утром из Байкала свеженькой зачерпнул, – продолжил Саня.

Дав мне все эти указания, он положил в спиртовую горелку, стоящую на столе на керамической плитке, большую белую таблетку сухого спирта и поджег его.

Спирт под моей кружкой с водой, стоящей на металлических опорах из толстой проволоки, горел синим пламенем. И вскоре вода в ней закипела. Приподняв ее, я всыпал в кружку две ложечки молотого кофе и снова дал воде закипеть, опустив кружку на стойки буквально на какие-то мгновения.

Ароматный, приятный запах кофе быстро распространился по небольшой комнатке. А я все подносил и подносил нос к своей кружке, наслаждаясь этим чудесным, бодрящим запахом.

– А сахар у тебя есть? – спросил я, зная, что Саня пьет черный кофе без сахара.

– А ананасов тебе не надо? – наконец-то улыбнулся Саня и продолжил неуверенно: – Кажется, есть. Открой вон тот шкафчик в углу. Там должен быть рафинад.

Рафинада на полочках узенького шкафа, увы, не оказалось. Но зато там обнаружилась, видимо, давно уже початая и лишь наполовину полная, застывшая сверху толстой пленкой сгущенка. Что для меня было даже предпочтительнее. Ибо я люблю кофе сладкий и с молоком, а еще лучше – со сливками.

Размешав в своей кружке еще и две ложечки сгущенки, я стал с удовольствием маленькими глотками пить этот прекрасный, особенно с утра, напиток, поглядывая, как и Саня, в окно, на Байкал и часть берега с причалом, вспоминая при этом наши со Светланой вчерашние безумства, которые бы я, как это ни странно (несмотря на все мои мысленные обещания), уже сегодня вечером, пожалуй, не прочь был бы и повторить.

Вопреки своему обыкновению, Саня, всегда такой веселый и разговорчивый, сегодня был тих и почти печален. Чувствовалось, что он чем-то не на шутку озабочен. И на счастливого любовника, к моей радости, он совсем не походил. И хотя прерывать его молчание мне не хотелось, я все же не удержался и спросил:

– А ты че такой кислый сегодня? Как у тебя дела с Галиной, кстати?

Второй вопрос, естественно, интересовал меня больше первого, заданного Сане, так, для приличия.

– Да никак, – ответил он апатично и по-прежнему глядя в окно. Что на него, с его итальянским темпераментом (он, кстати, и похож был на итальянца – черные, слегка выющиеся волосы, точеный римский профиль), было совсем не похоже. – Айсберг какой-то, а не девушка, – продолжил он, повернувшись ко мне. Никакими коврижками ее в койку, похоже, не заманишь. Полный облом. А у тебя как со Светой, есть успехи? – после короткой паузы поинтересовался он.

– Да так же, как у тебя, – ответил я, не желая вдаваться в подробности и еще больше расстраивать приятеля. Да и не привык я распространяться о своих амурных делах, даже с очень близкими людьми.

– Да, пролетели мы с тобой, дружище, как фанера над Парижем, – невесело зафиксировал наши «успехи» Саня. Летом-то все как-то по-другому, гораздо проще было. Быстрее, неприужденнее. А лето кончается – и чувства, похоже, кончаются или стареют, что ли, в преддверии осени... Кстати, твоя-то сегодня утренняя катером в Листвянку отбыла. Я видел из водолазки, как ее на причале Галина с Ольгой провожали...

– Успокоенный, стараясь все же особо не выпячивать свою радость, просящуюся наружу, я поблагодарил Саню за кофе и отправился в лабораторный корпус – вотчину микробиологов Максимовых – мужа и жены, у которых в одной комнатке как раз и стоял нужный мне пламенный фотометр и которым они мне в определенные часы позволяли пользоваться.

Поднимаясь от водолазки по тропинке вверх к небольшому бревенчатому и весьма замысловатому в плане архитектуры домику, мне хотелось неизвестно отчего (вернее, известно, отчего) не просто быстро идти, а бежать вприпрыжку, напевая при этом какую-нибудь веселую песенку!..

К вечеру, по прошествии, действительно, нелегкого, но плодотворного трудового дня, прыти у меня, конечно, поубавилось. И скакать козленочком, как это было утром, уже не хотелось.

Не спешно, чуть устало, бредя по лесной дороге к себе на стационар, до которого от лаборатории Максимовых было чуть больше километра, я отчего-то не без удовольствия повторял про себя утреннее Санино определение Галины: «Айсберг... Айсберг... Айсберг...»

И жаль, что этой песни: «А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под темною водой...» еще не было написано, а то я бы ее непременно спел. Может быть, и хуже Пугачевой, исполняющей ее. Но не хуже Николаева, автора музыки и тоже «певца».

Дорога, по которой я шел, плавно петляла по высокому берегу над Байкалом, видимым, там, внизу, слева. И была с двух сторон, словно в парке, окружена высокими соснами и лиственницами, некоторые из которых из-за подмыва берега сухими вершинами уткнулись в берег у воды. А их вывороченные корни, словно клубок змей, покоились на высоком берегу. Хвоя почти всех не упавших деревьев уже побурела, а осыпавшиеся иглы мягким ковром устилали эту красивую лесную дорогу, идти по которой было приятно, словно ты шагал по мягкому ковру.

И уж совсем было бы здорово, продолжил я свои размышления, если бы все повторилось, как вчера. Приходишь домой, а там все прибрано, ужин готов и красивая девушка с нетерпением ждет твоего возвращения. Хотелось бы, правда, чтобы этой девушкой оказалась Галина, внес я в предполагаемые, желанные мною события свои фантастические коррективы...

Перешагнув ручеек, после которого в небольшом отдалении, на более высоком его, правом, берегу, уже начиналось сельское кладбище, я увидел на поляне, отделяющей погост от моего балка, Галину. Не фантастическую, а действительную. Она совсем недалеко от заросших могил собирала землянику. И так была увлечена этим своим вкусным занятием, что не заметила, как я почти бесшумно приблизился к ней на расстояние нескольких шагов.

– Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет? – громко продекламировал я не в утвердительной, как у автора стихов Марины Цветаевой, а в вопросительной интонации, остановившись возле девушки.

– Не предполагала, – распрямившись и обернувшись ко мне лицом, тыльной стороны руки при этом поправив растрепавшиеся волосы, произнесла Галина, – что вы любите Марину Цветаеву. Мне казалось, она не в вашем вкусе. Слишком уж серьезна. А вам, как я поняла, нравятся женщины доступные, – иронично улыбнулась она. И в голосе ее кроме иронии и даже легкого презрения, как мне показалось, послышалось, все-таки и некоторое сожаление. Впрочем, умело скрытое.

«Значит, я ей все-таки небезразличен», – подумалось мне. И, вдохновленный этой мыслью, я продолжил:

– Галина, я приглашаю вас в гости, раз уж вы оказались в непосредственной близости от моей берлоги. Тем более что у меня есть клубничное варенье и можно заварить чай с чабрецом. Вы любите чаи с целебными травами?

– Я, как вы видите, клубничку предпочитаю. Впрочем, как и вы. – Она намеренно подчеркнула интонационно слово «клубничка», явно имея в виду – для себя первое значение этого слова, а для меня – второе, переносное, обозначающее любовь к чему-то сладострастному.

– Значит, у нас с вами схожие вкусы, – будто не заметив ее иронии, ответил я. Чувствуя, как все мое существо наполняется любовью к этой необыкновенной девушке, от которой мне, в сущности, ничего и не надо, кроме того, чтобы она не ушла. И мы могли бы с ней говорить о разных разностях и пить чай с чабрецом и клубничным вареньем.

– Пожалуй, я приму ваше предложение, сударь. Хотя стараюсь от малознакомых людей предложения в гости не принимать. Но от чая с чабрецом, да еще с моим любимым клубничным вареньем, не откажусь. Ибо надеюсь, что это вся культурная программа, которую вы намерены мне предложить, и никаких неожиданностей не предвидится? – с хитринкой, взглянула она на меня.

Меня задело это ее – «малознакомые люди», и я сказал:

– А мне казалось, что мы с вами уже довольно хорошо знакомы. И познакомились, не далее как три дня назад у Ольги.

«Боже мой, – мелькнула у меня быстротечная мысль. – Прошло всего три дня со дня нашего знакомства, а кажется, будто прошло уже много дней. Столько разнородных событий и чувств сумели вместить в себя эти три дня в конце лета».

– Мне тоже так казалось, что мы довольно хорошо знакомы, – как-то казенно, словно на официальной встрече, ответила Галина. – Однако мои предчувствия на деле оказались ложными. А фальши я, впрочем, как и вы, сударь, если, конечно, верить вашим словам, не люблю.

– Кажется, я о фальши вроде бы ничего не говорил? – усомнился я.

– Да, напрямую не говорили. Но вы, во всяком случае мне так показалось, в этом вопросе были согласны со мной, не так ли?

– Честно говоря, не помню, – ответил я. Очень уж не хотелось мне углубляться в эту тему.

– Жаль. А я вот помню, – по-моему, даже с каким-то укором проговорила Галина.

Когда мы вошли в балок начинало уже смеркаться, и я зажег керосиновую лампу, желтый теплый мерцающий шар света от которой, в самом просторном отсеке, как бы погрузил во мрак все отдаленные уголки вагончика.

– А у вас тут довольно уютно, чистенько, аккуратно. И даже цветы на столе! Чувствуется заботливая, а может быть, даже любящая, женская рука, – не преминула съязвить Галина, иронично взглянув на меня и усаживаясь на свободный, противоположный от моего спального места, рундук, пока я за перегородкой, в крохотной кухоньке, заваривал вскипяченной на газовой плите водой чай в довольно просторном заварнике.

– Может быть, вы хотите есть? – спросил я Галину, подходя к столу с заваренным, чудесно пахнущим богородской травой чаем. – У меня есть фасоль с тушенкой. – Об обилии лука в этом блюде я умолчал.

– Спасибо, я не голодна. Только чаю. И, если можно, с молоком.

– Молока, к сожалению, нет. Но есть сгущенка.

– Жаль, – ответила гостя. – Я люблю пить горячий, крепкий, но несладкий чай, с молоком. Тем более если он еще и с целебными травами. А у вас, кстати, сударь, нет настоя трав, излечивающих от любви? – после небольшой паузы, полушутливо спросила Галина. – А то любовь – это такая морока, такая мука и зависимость, и боль, особенно если любовь не взаимная. Вы со мной согласны? – не то актерствуя, не то всерьез договорила моя гостя.

– А вам разве нужен такой настой? – не отвечая на ее последний вопрос, поинтересовался я.

– А почему вы решили, что речь идет обо мне? – дерзко вскинула голову Галина. И я поспешил перевести разговор в другую плоскость. Очень уж не хотелось мне сердить мою нечаянную гостью.

– Извините, сударыня, – подделываясь под ее тон, продолжил я. – Семейного фарфора нэма, – указал я глазами, на принесенные из кухни зеленые снаружи и белые внутри эмалированные кружки.

– И так сойдет. Мы же в походных условиях, – беспечно махнула рукой Галина. – А где, кстати, обещанная клубничка? – снова двусмысленно произнесла она это слово, будто искушая или подталкивая меня к чему-то...

Я принес из «кухни» пол-литровую банку клубничного варенья, подаренную мне четой Максимовых. Две маленькие ложечки, два блюдца и сухарики с изюмом в бумажном пакете.

– Да вы, я гляжу, сударь, сладкоежка, – с улыбкой произнесла Галина, когда я все это выставил на стол...

Потом мы долго (неведомо, поскольку кружек) пили чай. И говорили, говорили, словно истосковавшись по обычной, простой беседе о разных пустяках...

В какой-то момент я вдруг почувствовал потребность рассказать Галине о себе, своих близких, о своих планах на жизнь. И порою мне начинало казаться, что и Галине хочется того же самого.

– А вы когда намерены отсюда отбыть? – уже каким-то другим, более теплым и душевным, голосом спросила Галина, задумчиво глядя на меня своими рысьими, чарующими глазами. – Или всю зиму пробудете здесь, на биостанции?

– Нет, зиму я, увы, проведу на другой биостанции, на Белом море. Я ведь аспирант Ленинградского зоологического института, – представилась мне наконец возможность рассказать о себе. – И в тему моей будущей кандидатской диссертации входит, в том числе, и сравнительный анализ интенсивности газообмена пресноводных – байкальских и морских – беломорских амфипод в естественных условиях их обитания.

– А почему тогда вы сказали: «увы». Мне кажется, это все очень интересно.

– Да, интересно. Но на той широте, на мысе Картеш, где расположена биостанция Зоологического института, солнце зимой появляется только в двенадцать часов дня, а в два часа оно уже заходит. Не полярная ночь, конечно. Но тем не менее в этой почти постоянной дневной черноте чувствуешь порою такое одиночество, такое уныние, словно ты остался один на всем белом свете.

– А любимая девушка, что же, писем не пишет? Чтобы хоть как-то скрасить это ваше одиночество?

– Нет таковой, – искренне ответил я, поспешно добавив: – Вернее, до недавнего времени не было.



– Бывает, – задумчиво произнесла Галина, глядя в темное, стекло окна в торце балка. И, словно не заметив этого моего важного уточнения: «До недавнего времени», предназначенного именно ей, о чем, по-моему, совсем нетрудно было догадаться.

Но, оказывается, мое замечание все-таки не осталось незамеченным ею. Поскольку через какое-то время она, слегка улыбнувшись, спросила:

– А сейчас такая девушка, стало быть, появилась? И теперь уже есть кому писать вам письма? – явно намекая на Светлану, проговорила она.

– Да, – серьезно ответил я. – Если только вы мне в самом деле напишете.

Галина будто бы совсем не удивилась моему ответу и снова задумчиво (удивительно быстро у нее менялось настроение: от иронии до глубокой задумчивости, а потом внезапной веселости) произнесла: – Не знаю. Не уверена. Нужно ли это нам обоим. И почему именно я? – негромко спросила она. А потом совсем уж грустно продолжила: – Я вот порою думаю, что наша человеческая жизнь – это ведь не такая веселая, в общем-то, штука. Поскольку даже рождение человека – это что? Великий дар или великая печаль? Ведь, получая жизнь, мы вместе с нею автоматически получаем и смерть. Пусть и потенциальную, неизвестную, будущую. Но реальную тем не менее. А ведь для любого человека смерть – даже если неизвестно, когда она случится, это все равно катастрофа вселенского масштаба. Потому что с тобой – для тебя умирает и весь этот видимый мир.

– Знаете, Галина, как о подобных вещах написал один наш сибирский поэт Петр Реутский: «Умереть не страшно – страшно не родиться...»

– Возможно, он прав. И, наверное, основная трагедия жизни любого человека даже не в том, что она когда-то прервется. Как нить судьбы, которую ткут для нас Мойры – эти древнегреческие богини. А в том, что мы все в ней одинаково одиноки. И единственным лекарством от одиночества является любовь. Но можно ведь и не встретить за свою единственную, такую короткую, жизнь, того человека, которого полюбишь всей душой, всем сердцем. И который – полюбит тебя. А без этого жизнь твоя будет разменяна на пустяки, на интрижки, на пятаки...

Конечно, мы оба были еще невероятно молоды (хотя тогда нам так не казалось). И юношеский максимализм жил в нас. И, не смотря на то что жизнь конечна, нам верилось в бесконечность единственной, неповторимой, дарованной небом любви...

Какое-то время мы сидели молча. А потом Галина спросила меня:

– А сколько вы еще здесь, в Котах, пробудете?

– Дня три, наверное, – ответил я. – Ну, может быть, неделю. В начале сентября из Лимнологического института, где я до этого работал, за мной должны прислать моторку. Я кое-что вывезу отсюда. Закрою балок. Съезжу на недельку, как только освобожусь, к родителям в Ангарск. А затем из Иркутска полечу в Питер. А оттуда в конце октября уже поездом, отправлюсь в Карелию, на Беломорскую биостанцию. Где планирую пробыть до нового года. А может быть, придется захватить еще и начало следующего года, если все будет идти не так гладко, как я наметил. Так что и Новый год тогда я буду встречать не дома, как планирую, – с родителями, сестрой, а потом с друзьями, а на биостанции. В обществе сильно пьющего сторожа – финна, его лаек, нескольких научных сотрудников да поварихи столовой.

– Интересно, – рассеяно проговорила Галина, будто думая при этом о чем-то другом, и так же рассеянно продолжив. – Я тоже планирую уехать отсюда в Иркутск к первому сентября, к началу учебного года. То есть через три дня.

– Значит, у нас обоих осталось только три дня до осени, – проговорил я, не ведая еще, что много лет спустя так будет называться один из моих рассказов, написанный почти через двадцать лет, после этого лета, в счастливое для меня время. И создан будет этот рассказ почти на пустой турбазе «Большой Калей», расположенной на берегу одного из заливов Ангары. Где мы с женой, нашим десятилетним сыном и тещей – добрейшей души человеком, готовящим для всех нас три раза в день еду (в основном из выловленной мной и сыном рыбы – шук,

карасей), отдыхали в конце лета. Как говорится, не в сезон. Радуюсь тому, что попали туда именно в это время, когда на турбазе почти никого уже не был...

– Да, – вновь как-то неопределенно, проговорила Галина. – Я бы тоже хотела встретить Новый год с родителями и сестрой. Правда, теперь это придется делать уже не в Иркутске, а в Серпухове. Отец у меня военный, – пояснила она, уловив мой удивленный взгляд, – и его недавно перевели служить в Подмосковье.

– А адрес ваш в Серпухове вы уже, конечно, знаете? – спросил я Галину.

– Да, – ответила она. – Он легко запоминается. Улица Пушкина, 37 (столько лет поэт прожил на свете), квартира 31. Это уже последний день года – 31-е декабря. – Она немного помолчала и, поднявшись с рундука, проговорила, как мне показалось (или так хотелось услышать?), с некоторым сожалением: – Однако уже поздно. Пора и честь знать. Спасибо за чай.

– Давайте я вас провожу, – предложил я.

– Не стоит. Я дойду сама. Вон луна-то за окном какая полная. Да и хочется, знаете ли, порою побыть наедине со своими мыслями.

– Галя, а можно я вам напишу с Белого моря? – спросил я с надеждой.

– Пишите, – ответила она, не выразив, впрочем, что меня слегка задело, никаких эмоций. – Я буду жить еще какое-то время, пока все определится с моим переводом в Москву, в другой вуз, скорее всего, у моей тетушки в микрорайоне Солнечном по адресу: улица Маршала Жукова, 3, квартира 18. Адрес запомните или записать? – вдруг спросила она, и мне стало так хорошо от этого ее вопроса, потому что я понял, что она будет ждать моего письма. И, может быть, не все еще с ней для меня потеряно.

– Запомню, – уверил я ее, проводив до двери.

– До свидания. Всего вам доброго, – приоткрыв дверь, проговорила она.

– До свидания, – с грустью ответил я, поторопившись спросить: – Может быть, мы еще встретимся в эти оставшиеся летние дни?

– Может быть, – снова сказала она без каких-либо эмоций. И, вдруг сняв с шеи бусы из плодов шиповника, протянула их мне. – Это вам от меня на память. Надеюсь, что пока они окончательно не завянут, вы будете помнить обо мне.

– Давайте я вас все-таки провожу. Уже темно, – настойчиво предложил я вновь, взяв бусы.

– Не надо. Я доберусь сама, – снова отказалась Галина. – Еще не так поздно, – добавила она, широко открыв дверь наружу и ступив на верхнюю площадку моего из трех широких ступеней, крыльца.

Не оглядываясь, она пошла через залитую белым лунным светом поляну. А я, не закрывая дверь, глядел ей вслед (надеясь, что она обернется) до тех пор, пока девушка не скрылась в полутьме почти уже осеннего прохладного вечера, спустившись к ручью.

Закрыв дверь на защелку, я вернулся в жилой отсек, решая, что мне делать дальше? Вымыть посуду, а потом почитать? Или унести посуду в кухню и вымыть ее завтра?

В конце концов, положив бусы на стол, я достал из ящика с инструментами молоток, маленький гвоздик. Вбил его под окном над столом, повесив на него бусы Галины.

Еще немного постояв в раздумье, достал свой блокнот и записал (пока точно помнил) оба адреса Галины. Потом взял со стола банку с Светиными цветами, загораживающими бусы, и вышел с ней на улицу. Вылив из банки воду, я выбросил цветы в небольшое углубление рядом с водоотводной, прорытой мною вначале лета, канавкой, сделанной за глухой северной стеной балка, где окон не было и где мой вагончик почти вплотную примыкал к подножию тянущейся резко вверх горюшки, прикрывающей его от северных ветров.

Вернувшись с улицы, я оставшейся в большом эмалированном чайнике горячей водой вымыл банку из-под цветов, потом посуду над раковиной в кухне, слив из которой шел в обычное ведро за дверкой тумбочки, на которой крепилась раковина. Затем, снова пройдя в жилой отсек, я с радостью отметил, что теперь цветы не загораживают мне бусы из плодов шиповника,

висящие под окном в торце стола, примыкающего к этой стенке, и чем-то напоминающие то ли красные крупные рубины, то ли большие капли крови...

Впрочем, очень скоро в тепле вагончика эти яркие краски поблекли, а красные крупные ягоды шиповника скукожились, будто покрывшись преждевременными морщинами, и не выглядели уже такими яркими, свежими, радостными. А впоследствии и вообще засохли, увяли...

Как увяла в конце концов, правда, очень долго сопротивляясь этому процессу увядания-забвения, и моя любовь к Галине. Впрочем, это медленное забвение любви растянулось на многие годы, даже десятилетия... Да, и до сих пор порою эта ранка иногда кровоточит...

Работа на Белом море у меня шла хорошо, и я понял, что успеваю воплотить все свои немалые планы уже к середине декабря.

Именно поэтому я еще в середине ноября, подгадав к одному из почтовых дней (раз в неделю с биостанции в Чупу – небольшой беломорский поселок, где имела почта, отправлялся биостанцевский катер), написал Галине, на ее иркутский адрес, письмо. Интересуясь в том числе и тем, где она намерена встречать Новый год. И высказав в этом своем письме все свои чувства к ней. Признавшись в том, что я полюбил ее с первой нашей встречи в Котах и что дальнейшую свою судьбу без нее я себе не представляю...

Мне уже подходило время отъезда с биостанции, а ответа на мое сумбурное, переполненное чувствами к Галине письмо («Может быть, этот вулкан чувств напугал ее?», – порою думалось мне долгими черными вечерами под равномерное гудение топящейся в доме, где я жил один, печи) все не было. И лишь за два дня до моего отплытия на катере с биостанции все на ту же станцию Чупа, расположенную у железной дороги, по которой ежедневно курсировал скорый поезд из Петрозаводска в Ленинград, мне наконец-то пришло долгожданное письмо от Галины, но не из Иркутска, куда я его адресовал, а из Серпухова:

«Игорь, твое письмо мне переслала тетя – Ольга Ивановна, оттого и ответ мой запоздал и я не знаю, успеешь ли ты получить это мое письмо, находясь еще на Белом море? Но буду надеяться, что ты его все-таки получишь.

Не стану скрывать, что твое бестолковое, в общем-то, письмо меня растрогало. Потому что в нем столько нескрываемой тоски и такая искренность (во всяком случае, я на это очень надеюсь) чувств, что мне ото всего этого становится одновременно и хорошо и страшновато. Можно ли выдержать долго такой накал?

Кстати, я перевелась из ИГУ в МГУ, правда, на курс ниже. Так что доучиваться буду не в Иркутском, а Московском университете еще полтора года.

А осенью, пока для перевода оформлялись все необходимые бумаги, мы с отцом и сестрой (она на несколько лет младше меня) успели съездить в ГДР – к бывшим сослуживцам отца. Мне в Германии очень понравилось. Чистенько. Уютно. И пиво везде – отличное!..»

И вдруг в самом конце такая неожиданная, но такая желанная для меня приписка:

«Ну, где ты пропадаешь? И зачем? Мне так хотелось бы увидеться с тобой. Поговорить. Помнишь, как нам хорошо говорилось в твоём балке в конце нынешнего, кажется уже такого далекого, лета?..

Приезжай, если сможешь, на Новый год в Серпухов.

Встретим Новый год вместе. Целую.

Галина».

Ночным экспрессом «Красная стрела» с Московского вокзала Питера я прибыл на Ленинградский вокзал Москвы ранним зимним, сонным каким-то утром 26 декабря.

И сразу же, ни минуты не задерживаясь на вокзале, спустившись в метро (благо оно уже работало), отправился на другой, Курский, вокзал столицы. Без проблем, купив там (в столь

ранний час народу на вокзале почти не было) билет до Серпухова, на ближайшую электричку, следующую по маршруту: «Москва – Тула».

В светлом и каком-то показавшемся мне радостном вагоне народу было совсем немного, и я занял удобное место у окна.

Электричка, иногда будто будя бодрыми гудками округу, неслась среди белых полей, уже освещаемых большим красным утренним солнцем, невысоко еще висящим над далеко видимой линией горизонта. И, несмотря на то что поезд наш из нескольких вагонов, и без того ехал быстро, почти без остановок, мне все равно хотелось еще ускорить его движение, поторопить. Так не терпелось мне поскорее увидеть Галину.

Пробыть в Серпухове я планировал чуть больше двух дней. Поскольку на 29 декабря у меня уже был заранее, еще в Ленинграде, куплен билет на самолет из Москвы до Иркутска.

Мой рейс из Домодедово должен был вылететь в восемь часов вечера и, направляясь встреч солнцу, прибыть в Иркутск рано утром (уже по иркутскому времени) 30 декабря. Так что в любом случае к Новому году я домой всяко-разно успевал.

Часа через полтора, уже ближе к обеду, я прибыл в Серпухов, показавшийся мне каким-то совершенно белым, занесенным свежим, пушистым снежком.

Доехав до центра города на автобусе (предварительно спросив у какой-то попутчицы – немолодой женщины с тусклым лицом и усталым взглядом, так не соответствующим моему тогдашнему настроению, где мне выйти, чтобы попасть на улицу Пушкина), легко нашел нужный мне адрес.

По улице Пушкина, 37 находился обычный панельный серый пятиэтажный дом, который до этого, в воображении, отчего-то, представлялся мне старинным двухэтажным особняком с белыми колоннами.

Взбежав, кажется, на второй этаж, я остановился перед дверью с цифрой 31, обитой черным дерматином с белыми блестящими шляпками мебельных гвоздей, чтобы перевести дыхание, сбившееся у меня явно не только от быстрого подъема по широкой лестнице.

Немного придя в себя, я с нетерпением нажал на кнопку звонка у двери.

Отдаленно услышал, как мой посыл приглушенно звенит в квартире. Однако никакого движения за дверью не обнаруживалось.

«А может быть, дома вообще никого нет? – с ужасом подумал я. – Надо было все-таки предупредить о своем приезде телеграммой, а не являться сюрпризом», – продолжил я свои невеселые размышления...

И тут дверь резко отворилась.

На пороге стояла Галина!

– Ты?! – искренне изумилась она, сделав отчего-то не шаг вперед, навстречу мне, а шаг назад, словно испугавшись чего-то. А в самом деле просто давая мне войти.

Чувствовалось, что она немного растеряна, скорее всего, еще и от того, что предстала передо мной в простеньком домашнем халатике, которой не мешал ей тем не менее, во всяком случае для меня, по-прежнему быть неотразимой.

Переступив порог, опустив свою спортивную дорожную сумку на чистый паркетный пол просторной прихожей и пользуясь замешательством хозяйки, я решил, не упуская момента (кто знает, представится ли еще такая возможность), обнять, а может быть, даже и поцеловать Галину. Ведь написала же она в конце своего письма мне: «Целую».

Однако Галина, даже в крепких моих объятиях, умудрилась, чуть отклонив лицо, вместо губ подставить щеку, проговорив затем, когда я разомкнул объятия:

– Я думала – это сестра вернулась из магазина. Ты почему не предупредил о своем приезде?

– Хотел сделать тебе сюрприз. Ты же приглашала меня в гости, – честно ответил я.

– Приглашала. И очень рада, что ты приехал. И сюрприз тебе удался. Снимай куртку и пойдем, я покажу тебе твою комнату. А потом, если захочешь, сможешь принять ванну.

Квартира была просторная, четырехкомнатная.

Галина провела меня в дальнюю небольшую комнату с окном, за которым видны были белые полуразвалившиеся стены какого-то древнего храма. В самой же комнате места хватило только для кровати и неширокого шкафа, почти закрытого сейчас открытой дверью комнаты.

– Это бывшая комната моей младшей сестры Ларисы, располагайся, – пояснила мне Галина.

– Почему бывшая? – поинтересовался я.

– Потому что нынешней осенью она выскочила замуж за своего одноклассника и живет теперь в квартире – тоже четырехкомнатной – своего мужа и его родителей в нашем же доме.

– Непорядок, – строго констатировал я. – Где же субординация? Разве можно выходить замуж раньше старшей сестры?!

– Так вот, никто меня, бедную чернавку замуж не берет, – улыбнулась Галина и продолжила: – А если бы Лариса не вышла замуж, пришлось бы тебе в моей комнате, правда, она побольше этой будет, устраиваться. Или в гостиной на диване. А через нее бы все ходили, в том числе и ночью, пробираясь к туалету по своим надобностям. – И уже строже добавила: – Так что о своем приезде надо все-таки извещать заранее. – И, совсем уж перейдя на деловой тон, спросила: – Ты пойдешь в ванную?

Я утвердительно кивнул в ответ.

– Тогда я дам тебе отцовский банный халат. Можешь после ванной в него облачиться. Отец с мамой вернутся с работы только к вечеру. А мы с тобой и с Ларисой отобедаем. Голоден небось?

Вволю нанежившись в горячей ванной в обильной мыльной пене и чуть не уснув при этом от приятного расслабления, минут через сорок я вышел на кухню в полосатом махровом халате отца Галины, Петра Ефимовича. Халат, кстати, вернее, совсем некстати, был мне велик. Отчего я сделал вывод, что Петр Ефимович человек довольно высокий и крупный. Каковым, скорее всего, и надлежит быть настоящему полковнику.

Галина с сестрой, вернувшейся к тому времени из магазина, оказались совсем не похожими друг на друга. Как будто и не были родными сестрами.

Они, слегка посмеиваясь над чем-то, колдовали над сервировкой стола в не очень большой кухне. А, увидав меня в халате отца, с подвернутыми рукавами и чуть ли не волочащимися по полу его полами, и вовсе весело рассмеялись.

– Я не думала, что халат тебе будет настолько велик, – удивилась Галина.

– Лариса, – протянув мне руку, сказала круглолицая, с приятными ямочками на щеках и озорными глазами девушка. – Младшая сестра этой вот мымры, которую вы, как я понимаю, знаете. Хотя никто ее не знает так, как я, – хитровато улыбнулась Лариса. – И это хорошо, потому что из-за ее максимализма: «Или все, или ничего» она ни с кем не могла бы ладить, – совсем по-взрослому высказала свои доводы столь юная особа.

– Лариска, ну, перестань паясничать, – одернула ее Галина. – Дай человеку хоть слово сказать.

– Игорь, – успел я втиснуть слово в образовавшуюся паузу. Пожав протянутую в мою сторону мягкую, даже, я бы сказал, какую-то сдобную, ладонь Ларисы.

– У нас солянка, – объявила Галина. – А к солянке предпочтительнее коньяк, чем другие крепкие напитки. Ты как, Игорь, относишься к коньяку? – спросила она, взглянув на меня.

– Весьма положительно, – честно признался я.

– Значит, водку из холодильника не достаем, – подытожила Галина и, еще раз взглянув на меня, словно изучая или вспоминая что-то уже забытое, сказала: – Можешь пойти в свою комнату, переодеться в привычную тебе одежду. А то тебе неудобно будет в таком наряде есть. И возвращайся поскорее – отметим нашу встречу. Надеюсь, и Новый год ты тоже с нами встретишь? – уже мимоходом спросила она, делая шаг к электрической плите с одной из тарелок, чтобы налить в нее горячую солянку, которая из открытой Галиной большой кастрюли, стоящей на плите, распространяла такой аппетитный аромат, что просто слюнки текли.

– К сожалению, – и в этот момент я уже действительно сожалел об этом, – не получится, – ответил я на вопрос Галины, задержавшись в двери. – У меня на 29 декабря уже куплен билет на самолет до Иркутска.

– Жаль, – похоже, искренне расстроилась Галина. И тут же, чтобы не показывать этого, перестроилась на более беззаботный тон: – Иди переодевайся, а то солянка в тарелках остынет. Да и выпить уже охота, – будто переборов сожаление от моих слов, улыбнулась она. И, как о чем-то решенном, ни к кому уже конкретно не обращаясь, добавила: – Значит, билет придется сдать...

Обед прошел, на удивление, весело и непринужденно.

Солянка была отменная! Да и дагестанский коньяк был хорош.

Мы отчего-то почти все время весело смеялись над различными репликами и веселыми шутками друг друга. И иногда начинало казаться, что так будет всегда. Хорошо, тепло, чуть хмельно, уютно, сытно, спокойно, беззаботно.

И я уже в который раз успел пожалеть о том, что через два дня мне улетать.

– А вы, Игорь, любите мою сестру? – судя по всему, опьянев чуть больше нас, серьезно спросила Лариса.

– Лариска! Перестань болтать всякую ерунду! – одернула сестру Галина.

Хотя по ее беглому взгляду, брошенному в мою сторону, было видно, что и ей хотелось бы знать ответ на этот вопрос, как говорится, из первых уст, и не письменно, а вживую.

– А это не ерунда, – серьезно и важно проговорила Лариса, отвечая сестре и, словно неразумному ребенку, втолковывая прописные истины. – Это, можно сказать, самое главное в любых человеческих отношениях. Итак, – обернулась она теперь уже ко мне, ваш ответ, сэр?

– Да, Лариса, – негромко ответил я. – Я очень люблю твою сестру. Но не знаю точно, как она ко мне, и ко всему этому относится.

Я увидел, как щеки у Галины после моих слов порозовели.

– За это надо выпить! – предложила Лариса и потянулась к бутылке с коньяком.

– Тебе уже хватит, пьянь малолетняя! – строго одернула ее Галина. – Иди лучше домой готовить ужин к приходу с работы твоего любимого Сереженьки и его родителей. Тем более, – продолжила она уже с некоторой хитрецей, – что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, не так ли? – перевела она взгляд с сестры на меня.

– Не знаю. Не уверен, – ответил я. – Скорее всего, настоящее чувство – это все-таки нечто большее, чем то, которое является как бы благодарностью за хорошую еду. Хотя и еда, конечно, тоже имеет значение...

Я не успел закончить свою мысль, дальнейшего развития которой, впрочем, не знал, как услышал строгий окрик Галины, снова обращенный к сестре:

– Я тебе сказала, хватит!

Она изъяла из рук Ларисы бутылку с коньяком, поставив ее на столе рядом с собой.

– Такой тост хороший, за любовь! А ты, вредина, не даешь за это выпить.

– Дома с мужем пей или не пей, сколько тебе вздумается. А здесь все – баста! А то тот же твой Сереженька упрекнет меня потом, что я из-за неприязни к нему намеренно споила его юную жену. Иди домой, Лариска.



– И пойду, – капризно надула губки Лариса, и было немного странно, что с трех малюсеньких рюмочек коньяка она так опьянела. – А вы тут, – мстительно продолжила она, – оставайтесь вдвоем, как вам этого хочется. – И вдруг, озорно подмигнув мне совсем не хмельным глазом, пока этого не видела Галина, сказала: – А проверить, кто как к кому относится, кстати, очень легко. Мы вот в сентябре с отцом ездили в Германию, так там есть такой обычай. Молодой человек (Вы же, надеюсь, еще считаете себя молодым, – уточнила она, – хотя вам уже, кажется, лет двадцать семь? Такой возраст ей, наверное, представлялся уже очень солидным.) дарит своей любимой девушке цветущий кактус. И это означает, что он делает ей официальное предложение, на которое та обязана ответить конкретно: «Да» или «Нет».

– Иди уж, знаток германских обычаев, – миролюбиво произнесла Галина, чуть подтолкнув сестру в спину, и выходя вместе с ней в прихожую.

– Я вам, Игорь, потом покажу, – продолжила Лариса, обернувшись ко мне, тоже вставшему из-за стола, чтобы выйти проводить ее, – где у нас тут такие кактусы продаются.

– Спасибо, Лариса, – ответил я ей.

– Пока! – надев цигейковую шубку, весело сказала Лариса нам обоим и чмокнула в щеку, сначала Галину, а потом, секунду помедлив, и меня. И снова хитро подмигнула мне: дескать, не журишь, все будет хорошо! И по ее трезвому взгляду я окончательно понял, что она совсем не пьяна, а просто дурачится.

– Совсем пить не умеет, – осуждающе проговорила Галина, когда мы, проводив Ларису, вернулись к столу. – И выпила-то всего ничего.

– А мне кажется, что она просто дурачилась, – вступился я за младшую сестру Галины.

– И туда же, советы дает, – продолжила Галина, будто не заметив моей примирительной реплики по поводу своей младшей сестры, – как взрослая. А вот в институты ни она, ни муженек ейный, – проговорила она на сибирский манер не поступили, тем не менее при всем своем уме. Зато свадьбу какую справили! Три дня весь Серпухов качало. А тут еще, того гляди, детки пойдут. И уж не до институтов обоим будет. Так и останется «Сереженька» (чувствовалось, что Галина недолюбливала за что-то Ларисиною мужа, которого та именно так и называла) электриком, а Лариска – секретаршей. Впрочем, – уже более лояльно произнесла Галина, – она ходит на подготовительные курсы. Собирается на следующий год еще раз попытаться поступить в мединститут. Может, и поступит, – без какой-либо уверенности, впрочем, произнесла Галина. – Да и в армию ее муженька могут вот-вот забрать, – закончила она.

– Ладно, что мы все о пустом говорим, – внезапно прервала свой монолог Галина. – Сами уже взросленькие. Пусть сами в своих делах и разбираются. Правда ведь? – улыбнулась она.

– Правда, – согласился я, согретый теплом ее улыбки. – Но ведь и ты не так уж намного старше Ларисы? Года на три, наверное? – уточнил я.

– На четыре! – с вызовом ответила Галина. И я тоже не сразу в университет, на биофак, поступила. Мы же все по разным гарнизонам с отцом мотались, по Забайкалью. Не до институтов было. Но замуж я пока не собираюсь, – все в том же тоне продолжила она.

– Совсем не собираешься? Или все-таки пока? – вновь уточнил я.

– Давай не будем обо мне, – как-то вдруг устало попросила Галина. – Расскажи лучше о себе, как твои дела?

– Да все вроде бы нормально, – ответил я. – Как в стихотворении «солдатские письма» одного моего знакомого поэта, из его сборника «Два года», тем более что ты только что упомянула об армии: «Служба идет нормально. Иногда я так устаю, что забываю увидеть тебя во сне...»

– Красиво сказано, – задумчиво проговорила Галина. – Чьи это стихи?

– Анатолия Кобенкова, моего доброго приятеля, – решил подмазаться я к чужой славе.

– Он из Иркутска?

– Нет, из Ангарска. Мы с ним живем недалеко друг от друга. И эту свою книжку «Два года» он мне подписал и подарил совсем недавно.

– А ты, Игорь, случаем, стихи не пишешь? – поинтересовалась Галина.

– Пишу, – не стал я врать, – но так хорошо, как у Толи, у меня не получается.

– Жаль, – грустно произнесла Галина. – Красивые слова для женщины много значат... – Она ненадолго замолчала, а затем продолжила: – Еще по рюмочке, – кивнув на бутылку с коньяком, спросила она, – или хватит?

– Давай выпьем. Знаешь, для меня с самого детства этот близкий период предновогодья, когда наступает последний понедельник, вторник, среда и так далее, всегда являлся и является до сих пор чем-то таким таинственным, волшебным, что ли. Может быть, и даже, скорее всего, именно от этого – от предчувствия чудес, которых непременно каждый ожидает от Нового года. И эту последнюю неделю перед Новым годом я всегда любил и люблю до сих пор гораздо больше, чем сам Новый год. Который обычно ни чьи ожидания, как правило, не оправдывает. Да и солянка у тебя такая отменная, что грех не выпить под такую закуску.

– Мое фирменное блюдо, – не без гордости ответила Галина, разливая нам коньяк в маленькие хрустальные рюмочки. – Правда, остыла уже, наверное, но подогревать не буду, неохота. Да и коньяк хорош сам по себе, – добавили она. – Мой отец всегда берет именно этот, дагестанский. Он и там успел послужить. И с мамой нашей там познакомился. Это от нее у меня такие густые черные волосы. Так вот, – снова переключилась она на коньяк, – отец говорит, что его еще не научились подделывать, как, скажем, армянский или грузинский. А пять звездочек ему напоминают, опять же с его слов, о службе в Дагестане, где он был еще молодым, свободным, беззаботным капитаном. Ему друзья его оттуда и присылают каждый раз к Новому году.

– А это ничего, что мы его коньяк пьем? – поинтересовался я.

– Ничего. У него еще есть, – спокойно ответила Галина, и спросила: – Так за что выпьем?

– Давай за нас с тобой, – предложил я. – Чтобы все у нас было хорошо. И так, как нам этого хочется.

– А разве так бывает? – усомнилась она.

– Не знаю. Но попытаться-то можно, – ответил я.

– Ну, давай, – поддержала Галина, чокнувшись со мной.

И мы с удовольствием выпили по несколько небольших глотков этого прекрасного солнечного напитка, рождающего в душе радость, тепло и стремление жить, закусив дольками лимона, посыпанного сахаром, а потом уж вкуснейшей солянкой...

– Чай, кофе? – через какое-то время спросила Галина. И весело улыбнувшись, добавила: – Или потанцуем?

– Давай лучше прогуляемся, – предложил я. – А то мы и так, по-моему, нагрузились едой до ватерлинии. А за окном, смотри, какой идет пушистый, сказочный снежок. И как тихо-тихо опускаются на землю мохнатые снежинки.

– Давай погуляем, – согласилась Галина. – Посуду только помою. А ты пока иди одевайся...

По белому, тихому, почти уже предвечернему городу, с нечасто встречаемыми прохожими, мы сначала прошли мимо какого-то холма, с остатками на нем бывшего, с белыми стенами, храма, видимого из окон Галининой квартиры, больше похожего отчего-то на крепость на холме. А вскоре, миновав эти белые и темные меж них глазницы бывших окон, дошли до торговых одноэтажных рядов, вытянувшихся небольшим квадратом на не очень большой площади, вокруг которой, окольцевав торговые ряды, по влажной черноте асфальта на небольшой скорости, будто не проезжали, а медленно проплывали в свете фар и разноцветных фонарей, блестящие машины. И в свете их фар сказочно и быстро, в отличие от медленно спадающего,

словно штора в замедленной киносъемке, снега, кружились, словно обезумев от собственного веселья и беззаботности, крупные, с мохнатыми «ресницами» снежинки. И отчего-то казавшийся мне разноцветным свет фар проплывающих мимо машин напоминал новогодние конфетти.

И так было спокойно, тихо на душе, И совсем не тяготило молчание, изредка прерываемое отдельными фразами.

– Вон, кстати, тот самый магазинчик, о котором тебе делала намеки Лариса, – нарушив наше созерцательное, какое-то глубокое и, как мне показалось, полное тайного смысла молчание, проговорила Галина, указывая глазами на ярко светящиеся окна небольшого павильончика, над дверью которого красовалась большая, с яркой подсветкой, вывеска: «Цветы».

– Давай заскочим, – предложил я.

– Давай, – без особого, впрочем, энтузиазма, согласилась Галина.

Зайдя в небольшой магазинчик, находящийся в одном ряду с остальными торговыми павильонами, мы сразу же как будто попали в некую зеленую оранжерею. Здесь было тепло, влажновато, пахло прелой землей и цветами. И создавалось впечатление, что из метельного вечера мы вдруг угодили напрямик в уже минувшее лето. Может быть даже, в то – наше, лето на Байкале, где мы познакомились. Хотя там таких обильных запахов зеленой растительности, окружающих нас почти со всех сторон, все-таки не было. Одним словом, этот зеленый оазис, пусть и отдаленно, мог напоминать Эдем – райский сад.

– А у вас есть цветущие кактусы? – подойдя к прилавку (Галина осталась стоять у окна, сбоку от входной двери), с интересом разглядывая причудливые морозные узоры на окне, спросил я миловидную девушку, стоящую с другой его стороны.

– Есть один, только очень маленький, – серьезно ответила она. – Вчера только распустился. Вам показать?

– Да, пожалуйста, – попросил я ее, – и, улыбнувшись, добавил: – Если он только не совсем распустился, а просто расцвел.

Впрочем, моего замысловатого каламбура девушка, похоже, не поняла, но из-за прилавка вышла, направившись куда-то в угол павильона.

Галина, не подходя к нам, продолжала стоять у окна, задумчиво глядя на метель за окном, словно все происходящее не имело к ней никакого отношения.

Девушка-продавец вскоре принесла маленький шарообразный кактус, на макушке которого распустился яркий красный цветок, похожий на бантик на голове девочки, только очень маленького размера.

– Вот посмотрите, только осторожно, – поставила она на прилавок сей необычный экземпляр. Вновь через откидную дверку сверху прилавка, пройдя на свое место напротив меня.

Иголки на кактусе, растущем в крохотном глиняном горшочке, были тоненькие, будто прозрачные. И отчего-то напомнили волосики младенца на его голове.

– Сколько он стоит? – спросил я.

Девушка назвала довольно приличную для такого крохотного растения цену.

– Я его возьму, – сказал я.

– Вам его упаковать? – заботливо, спросила девушка.

– Чуть позже. Сначала я хочу показать его своей девушке. – Не без гордости ответил я милой продавщице, кивнув в сторону Галины, по-прежнему безмолвно стоящей у большого – почти от пола до потолка – разделенного на небольшие квадраты тонкими деревянными перегородками темно-коричневого цвета, окна, за которым, не переставая, шел снег. Причем вся нижняя часть окна почти до его середины была «разрисована» сказочными морозными, причудливыми, как древний непроходимый лес, узорами. А в верхней части освещенные снаружи желтым светом фонаря, в ритме вальса, вернее, метели, продолжали кружиться беспри-

ютные и беззаботные снежинки, на которые с неослабевающим интересом продолжала смотреть Галина.

Я подошел к ней сзади с кактусом, который очень бережно держал на раскрытой ладони, и спросил:

– Галя, тебе нравится этот цветок?

– Да, очень славный, – ответила она рассеяно, будто с трудом отведя свой взор от окна.

– Я хочу тебе его подарить. Тем более что именно так, если я все правильно понял со слов Ларисы, в Германии делают предложение любимой девушке.

Я говорил тихо, чтобы не было слышно продавщице. И Галя тоже ответила мне тихо, но по-прежнему как-то отстраненно:

– Да, вроде бы так.

– И что ты на это скажешь? – спросил я, чувствуя, как гулко в моей груди бьется сердце, словно желающее выскочить из грудной клетки наружу. Мне даже показалось, что этот гул может услышать не только Галина, но и продавец, находящаяся от нас на расстоянии трех-четырех шагов.

– Скажу, что подарок мне нравится, – спокойно ответила Галина. – А еще скажу – давай не будем спешить. Ведь, по большому-то счету, мы еще так мало знаем друг друга. Так, несколько встреч, несколько писем, звонков... Думаю, что всего этого пока еще слишком мало для столь серьезных, судьбоносных решений. А в любовь с первого взгляда я, честно говоря, не верю. К тому же чудеса, как это общепринято, происходят с боем курантов в двенадцать часов ночи, после чего наступает краткий миг безвременья. Ноль часов ноль минут. Ты же в это время будешь уже очень далеко отсюда. От этого города и от меня, – совсем не скрывая уже своей горечи, грустно произнесла Галина.

– Если ты хочешь, я сдам билет, и не полечу на Новый год домой? – решительно проговорил я.

– Очень хочу, – слегка улыбнулась Галина. – Я мечтала, чтобы мы встретили Новый год вместе.

Она наклонилась ко мне и легонько, словно бабочка своим крылом, коснулась моей кожи, поцеловала меня в щеку, наверное, такую же колючую, как кактус, который я держал на раскрытой ладони, поскольку побриться я сегодня еще не успел.

В этот самый миг, совсем не обращая на нас, стоящих у окна, никакого внимания, в магазин влетел, словно горящий метеорит, довольно растрепанный мужчина лет сорока.

– Три красных розы, пожалуйста. И побыстрее! – почти прокричал он.

«Куда он так спешил? Кому он хотел вручить эти розы? Что решалось сейчас в его судьбе?» – для нас всех так и осталось неразгаданной тайной.

Через малое время, вновь никого и ничего не замечая, расплатившись с девушкой-продавцом, держа в руках завернутые ею в плотную серую бумагу розы, он почти подбежал к входной двери, резко дернув ее на себя, снова издав мелодичный, протяжный звон колокольчика, приделанного на верхнем косяке двери так, чтобы при входе и выходе он мог звонить.

Я тоже подошел к продавщице, и она, отсчитав мне сдачу, аккуратно упаковала кактус, поставив его в небольшую цветистую коробочку.

– Всего вам хорошего, – улыбнувшись, проговорила она, протягивая коробочку с кактусом Галине, тоже подошедшей к прилавку. И даже, как мне показалось, с легкой завистью поглядела на нее.

Мы вышли в темноту ранних декабрьских сумерек.

Метель, устав вальсировать, почти уgomонилась. И в желтом свете фонарей, в их таких четких на фоне черного неба конусах света, порхали теперь лишь редкие, будто уставшие от долгого бала, снежинки...

– О, вы как раз к ужину! – открыв на наш звонок входную дверь, приветствовал нас высокий, красивый мужчина, в махровом полосатом халате, который я уже нынче примерял на себя. Но эта «шапка Мономаха» мне оказалась велика. А вот отцу Галины сие одеяние было, похоже, даже чуть маловато.

«Вот, оказывается, в кого Галина», – подумал я, с интересом глядя на этого импозантного, улыбающегося мужчину.

– А ты что ключ от дома не взяла? – спросил Галину отец. И продолжил, обращаясь уже к нам обоим: – Ничего, что я в халате? По-домашнему.

– Поступай, как считаешь нужным, – отчего-то раздраженно, на мой взгляд, не ответив на его первый вопрос о ключах, ответила отцу Галина. И, сняв в прихожей шубку, сразу же проследовала в глубь квартиры, держа в руках коробочку с кактусом.

– Мойте руки, – командным тоном произнес отец Галины, – и к столу! Опоздавших кормить не будем! – крикнул он вслед дочери, идущей через гостиную в свою комнату.

Сняв в прихожей куртку и вымыв в ванной руки, я прошел в кухню, где у плиты что-то разогревала круглолицая, среднего роста, чуть полноватая женщина, с приятными ямочками на щеках, на которую так была похожа Лариса.

– Здравствуй, Игорь, – обернулась она ко мне, улыбнувшись. – Меня зовут Евгения Ивановна, – представилась она и продолжила: – Лариса нам с Петром Ефимовичем уже сообщила по телефону, что у нас гость из Сибири. Мы ведь там с Петром и девочками почти двадцать лет прожили в Сибири. Сначала в Читинской, а потом в Иркутской области, – будто о чем-то сожалая, глубоко вздохнула она. – Галина с Ларисой у нас обе в Иркутске родились, так что мы с вами, можно сказать, земляки, – закончила Евгения Ивановна, поспешно обернувшись к плите, на которой что-то зловеще зашипело.

– Ну, давай, земляк, по рюмочке коньяка хлопнем за знакомство да закусим чем бог послал, – предложил Петр Ефимович, садясь на угловой диванчик к столу, спиной к окну, задернутому теперь красивыми, яркими шторами.

Мы выпили, закусив коньяк дольками лимона с сахаром и маслинкой и такими же тонко нарезанными, почти прозрачными, дольками балыка. Так что бог послал Петру Ефимовичу, на мой взгляд, весьма отменную закуску.

– Сейчас уже жаркое будет готово, – предупредила от плиты Евгения Ивановна и спросила: – А где Галина-то?

– Пошла в свою комнату пристроить подарок, – ответил я.

– А что за подарок, если не секрет? – снова наполняя наши рюмки, из початой нами с Галиной и Ларисой в обед бутылки, спросил Петр Ефимович, озорно подмигнув мне, как это делала Лариса.

– Кактус, – ответил я.

– О-о-о! – со значением, улыбнулся отец Галины, подняв свою рюмку и жестом предлагая выпить. – Цветущий небось? – добавил он. И, выпив рюмку, закончил: – Не думал что все так серьезно у вас...

Вскоре в кухню вошла Галина. Она была в красивом (уже другом, не том, что днем) домашнем халате.

Галина помогла матери разложить по тарелкам жаркое, и они тоже подсели к столу. Галя – рядом с Петром Ефимовичем на диванчик, а мы на табуретки, стоящие ближе к плите.

– Женушка, ты там рядом с выключателем сидишь. Погаси, пожалуйста, верхний свет. В глаза бьет, – попросил Евгению Ивановну супруг. – Пусть только боковушки светят. Так как-то уютнее, – продолжил он, когда верхний, действительно очень яркий, свет был погашен. – Помнишь, как мы с тобой в Чехословакии, в каком-то старинном средневековом замке в горах,

при таком же вот интимном освещении обедали? – спросил он Евгению Ивановну, со значением посмотрев на нее.

– Помню, Петя. Как не помнить, – ласково отозвалась жена.

– По рюмочке коньяка выпьете? – спросил Петр Ефимович женщин.

– Я не буду, – отказалась Евгения Ивановна.

– А я выпью вина, – ответила Галина. – Есть у нас сухое красное вино? – спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь.

– У нас все есть, кроме денег и счастья, дорогая доченька, – шутливо ответил Петр Ефимович, протягивая руку куда-то вниз, и доставая из шкафчика под окном бутылку красного вина «Каберне». – А ты чего такая хмурая? – поинтересовался он. – Что-то не так?

– Все так, – не очень любезно, ответила Галина, подставляя свой фужер отцу, успевшему уже вытащить пробку из бутылки с вином.

Мы втроем выпили, и мне снова, как и сегодня днем, стало так хорошо, тепло, уютно в этой небольшой, но очень уютной кухоньке, среди этих прекрасных людей, будто я прожил вместе с ними много счастливых лет...

На следующий день я сдал в агентстве «Аэрофлота» свой билет на 29 декабря от Москвы до Иркутска, заплатив при этом 25 % неустойки и купив билет на 3 января уже следующего, 1977 года. Поскольку мне хотелось хоть пару дней побыть, все же дома. Да и с друзьями встретиться хотелось. Хотя от всех этих манипуляций мои совсем невеликие, аспирантские доходы трещали по всем швам. Но я знал, что на обратную дорогу из Иркутска до Ленинграда родители меня деньгами наверняка снабдят, довольные тем, что я, хоть ненадолго, навестил их. Ободренный этой мыслью, я заказал тут же в почтовом отделении агентства междугородние переговоры и позвонил домой, предупредив маму, которая подошла к телефону, что приеду сразу после Нового года.

«А в Питер улечу из Иркутска, – размышлял я на обратной дороге к дому Галины, – числа 5–6 января. Тем более что, с учетом разницы во времени в пять часов, дома я должен быть уже 3 января рано утром. Так что все успею. А здесь, в Серпухове, в новогоднюю ночь, как намекнула Галина, могут произойти решительные для нас обоих изменения. Тем более что, судя по всему, родителям Галины и ее сестре я, кажется, понравился. Теперь дело только за ней самой...»

В веселой, порою бестолковой, но радостной предновогодней суете мы с Галиной были почти все время вместе. То ходили на рынок, то в магазин за какими-то еще недостающими продуктами и приправами к новому столу. То обедали вдвоем в их гулкой, безлюдной квартире, всякий раз выпивая по несколько малюсеньких рюмочек коньяка. «Для настроения», как говорила Галина. И много говорили потом обо всем на свете, вспоминая и Байкал. И наши короткие, как в одноименном фильме Киры Муратовой, встречи. Там, на биостанции Больших Котов, в конце лета. И все эти совместные действия так сближали нас, что порою мне начинало казаться, что мы с Галиной уже женаты.

Я даже как-то раз насмелился и сказал ей об этом.

– Да, немного похоже, – задумчиво ответила она. – Скорее всего, из-за общих бытовых забот. Только не стоит это состояние идеализировать. Я думаю, что, если бы мы в самом деле поженились, перед нами тут же встал бы целый ряд неотложных, но необходимых и не всегда приятных вопросов. Например: «Где жить?» В том числе и географически. Здесь, в Ангарске, в Питере? И еще раз – где жить? У твоих, моих родителей или снимать жилье, поскольку своей квартиры у нас нет и в ближайшие сто лет, – грустно пошутила Галина, – как я понимаю, не предвидится. Существенный вопрос и на что жить? Или на какие шиши снимать жилье? Ты, как я понимаю, не миллионер с причудами, и живешь на аспирантскую стипендию. А предварительно не решив все эти вопросы, все бы могло закончиться, как в стихотворении Мая-



ковского: «Семейная лодка разбилась о быт...» Кстати, – перевела Галина разговор со столь действительно печальных и очень трудно разрешимых в те времена для нас обоих проблем, на другую тему: – Я попросила Ларису, чтобы ее муж 31 декабря (они будут справлять Новый год с нами) принес гитару и настроил ее на семиструнный лад. Ты ведь, насколько я помню, играешь на семиструнке?

– Да, – ответил я, совсем невесело, будто придавленный справедливыми доводами Галины, которые я решить, при всем моем желании, тем более быстро, увы, не мог. Ни где жить, ни на что жить. А жить в аспирантском общежитии – это был не выход. Ни для меня, ни, главным образом, для Галины, привыкшей все-таки к определенному комфорту.

– Вот и хорошо, – проговорила Галина. – А то муж Лариски начнет брэнчать одними и теми же аккордами безо всякой мелодики свои бодрые «пионерские песни». А так, перестроит гитару и не будет нам мешать послушать тебя. А я намерена перед своими близкими тобой хвастануть. Думаю, что им тоже понравятся твои песни. И это же ничего, что на гитаре только шесть струн? – уточнила она.

– Ничего. Главное – настрой, – ответил я.

– А что это мы загрустили? – улыбнувшись, участливо спросила Галина, рукой вдруг взъерошив мои волосы, и внимательно глядя на меня. – Грустить не надо. Главное ведь – настрой, как ты говоришь. Так что давай проведем эти несколько дней, отпущенных нам судьбой, весело. Ибо не весть когда еще доведется вновь встретиться. И уж ты порадуешь нас, а в первую очередь меня, в новогоднюю ночь своими песнями. Порадуешь? – не то попросила, не то спросила она.

– Разве я могу вам, сударыня, в чем-то отказать? – ответил я посреди площади заснеженного рынка, на который мы пришли купить мяса. И даже сделал галантный полупоклон, взмахнув правой рукой, в которой предполагалась широкополая, никем, впрочем, кроме меня, не видимая мушкетерская шляпа с перьями.

– Не знаю, – кокетливо улыбнулась Галина. – Надо будет как-нибудь проверить.

Новогоднее торжество в семейном кругу Соболевских (Петр Ефимович, Евгения Ивановна, Галина), судя по всему, любящих и умеющих отлично попить, а также Игнатьевых (Лариса и ее супруг), вышло довольно веселым! Несмотря на то, что муж Ларисы – высокий бледноватый юноша со светлыми, слегка вьющимися волосами все время имел такой вид, будто был чем-то недоволен. Видимо, ему не доставало всеобщего внимания, к которому он привык в школе, исполняя на школьных вечерах свои, как определила их Галина, «пионерские песни», поскольку свою шестиструнную гитару он перестроил на семиструнный лад, поставив на сиденье кресла, стоящего возле торшера, в углу просторной гостиной.

Стол был не просто обильным, а изобильным. Пилося и елось, пока еще за старый год и его достижения, с удовольствием. А когда при бое курантов на Спасской башне Кремля пробило двенадцать и в бокалах веселыми пузырьками заискрилось шампанское, даже очень серьезный Сергей Игнатьев сдержанно улыбнулся. А нам с Галиной, правда, уже некоторое время спустя после полуночи, удалось даже уединиться в ее комнате под предлогом, что она мне что-то собирается показать. Кажется, летние фотографии на Байкале, где она сфотографирована в бусах из плодов шиповника, так шедших ей.

И действительно, она показала мне несколько таких фотографий из своего альбома. На одной из них – светловолосый молодой человек, на палубе судна «Натуралист», готового уже вот-вот отойти от причала биостанции, и увести из Котов черноволосую девушку, обнимает ее. А она, в плену его сомкнутых за ее спиной рук, отвернув голову, избегает поцелуя и весело смеется при этом прямо в камеру фотоаппарата. А ее длинные черные волосы от резкого движения головой будто застывают в воздухе, подобно крылу птицы. И этот светловолосый молодой человек и красивая темноволосая девушка не кто иные, как я и Галина.

Под воздействием изрядно выпитого я решил, правда, надеясь теперь на больший успех, повторить свою летнюю попытку. Обняв Галину, приблизил ее к себе, столкнувшись с ее внимательным, будто изучающим меня, взглядом. И мне в этой теплой, полутемной из-за одного только бра, висящего над диваном, сидя на котором мы рассматривали фотографии, взгляда стало вдруг будто прохладно. А Галина, освободившись от моей руки, попросила:

– Не надо этого делать. Мы ведь в квартире не одни. Кто-то может войти, и всем будет неловко – и нам, и тем, кто застанет нас врасплох.

– Галя, – раздосадованный ее холодностью и взглянув на широкий белый подоконник, где стоял, с красным бантом на макушке, маленький кактус, подаренный мною, – проговорил я. – А ведь ты мне так и не дала прямого ответа, в связи с моим подарком, – кивнул я на подоконник с одиноко стоящим на нем цветком.

– Я не могу, Игорь, сказать тебе нет, поскольку ты мне не безразличен. Но я не могу тебе сейчас сказать и да, поскольку существует множество нерешенных насущных для такого ответа проблем. А я не могу и не хочу попусту обнадеживать тебя. Для начала мне надо закончить университет. Тебе – аспирантуру... А там видно будет. Так что давай не будем торопить события...

Она обняла меня. И так нежно, так невесомо коснулась своими сочными губами моих пересохших от волнения губ, что я от радости и переполнявшей меня нежности к этой девушке, кажется, на некоторое время просто выбыл из этого мира, переместившись мгновенно куда-то туда, где все так прекрасно, так радостно, так безмятежно.

– Одним словом, – отстранившись от меня, закончила Галина тоном учителя младших классов, втолковывающая что-то неразумному ученику, – не будем отключать мозги. И не сердись на меня, пожалуйста. И не грусти. Ты мне очень дорог и очень нравишься. Но это пока все, что я могу тебе сказать. И еще, так сказать, для полного прояснения обстановки я хочу сказать тебе, что скудной жизнью я жить не хочу. Да и не смогу уже, пожалуй. Скудной жизни нашей семье, кочуя по разным отцовским гарнизонам, с лихвой хватило. И повторения подобного я не желаю. А снимать квартиру, думать о хозяйстве на скудные гроши – это меня не устраивает. Как видишь, я честна с тобой, ибо фальши, как ты, надеюсь, помнишь, не терплю... Пойдем в гостиную, а то нас потеряют, – после долгой паузы, проговорила Галина, – да и подумать могут невесты что. И желание мое ты так пока и не исполнил, не попел нам.

Мы вошли с Галиной в гостиную, где нашего отсутствия, похоже, никто и не заметил. Отец Галины, весело посмеиваясь, разговаривал с Сергеем – мужем Ларисы, а сама она и Евгения Ивановна носили из кухни на стол еще какие-то недостающие, по их мнению, закуски и приправы. Хрен, горчицу, заливное.

Я взял с кресла гитару. Аккуратно расчехлил ее, истосковавшуюся в своем заточении. Попробовал настроить. Он был верен. Да и звук у гитары был очень хорошим, сочным.

Галина уселась в кресло (в тени, куда уже не доставал свет торшера), на котором до того стояла гитара. Я сел на табуретку, недалеко от нее, спиной к окну. И еще раз прошелся по струнам, уже давая им прозвучать в полную силу.

Петр Ефимович прекратил разговаривать с Сергеем и, постучав по своему бокалу вилкой, громко произнес:

– Тишина в зале! Музыкальная пауза...

Лариса с матерью уселись на диван, и дочь опустила голову на сдобное и, наверное, мягкое плечо Евгении Ивановны. А Сергей с нескрываемым интересом бегло взглянул на меня. Дескать, чем это Галин друг сможет нас удивить?

– Маэстро, ваш выход! – артистично произнес Петр Ефимович, кивнув мне головой. И я заметил краем глаза, что Галина слегка поморщилась от этих его слов, воспринимая их, по-видимому, как шутовство. «Да, не совсем простые у нее отношения с отцом. Хотя, судя по всему, она его очень любит. И он для нее во многом пример...», – прежде чем начать играть

успел подумать я и взял первые аккорды первой же пришедшей мне на память, но получилось что такой пророческой, песни «Есть «да» и «нет» Булата Окуджавы:

– Есть «да и «нет». И не шутя, веками длится спор. Но только время им судья, хоть суд его не скор...

Закончив первую песню и еще перебирая струны, я почувствовал такую напряженную тишину, такое внимание, будто я был всемирно известным артистом, заглянувшим на новогоднее торжество к малознакомым людям.

Петр Ефимович с явным интересом глядел на меня. Лариса, прикрыв глаза, будто дремала на плече матери, взор которой был задумчив. Сергей смотрел на Ларису. А куда смотрела Галина, сидящая сбоку от меня, я не видел, не хотел на нее оборачиваться. Да и вряд ли увидел бы, ведь она сидела в тени, в углу гостиной, не попадая в свет торшера, стоящего недалеко от кресла на полу.

И вторая песня – «Музыкант», полилась уже сама собой, под нежный перебор гитарных струн, навеянная моими мимолетными мыслями:

– Музыкант в лесу, под деревом, наигрывает вальс. Он наигрывает вальс, то медленно, то страстно. А что касается меня, то я опять гляжу на вас. А вы глядите на него. А он глядит в пространство...

И много еще было потом песен, в основном новогодних, по случаю. Это и «Диалог у новогодней елки» Юрия Левитанского, с такими чудесными, оптимистичными словами: «Месяц серебряный – шар со свечой внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три...»

Я пел минут тридцать, не меньше. В конце, исполнив песню Булата Окуджавы «Прощание с новогодней елкой» с такими заключительными словами:

– Ель моя, Ель – уходящий олень, зря ты, наверно, старалась: женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась! Ель моя, Ель, словно Спас на крови твой силуэт отдаленный, будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей, неуголенной.

И слова эти были тогда так созвучны моему, увы, печальному настроению.

Гитарные переборы стихли. Но в гостиной все еще стояла та внимательная, даже будто вязкая, удивительная тишина, когда каждый будто погружен в самого себя, в свои сокровенные мысли, разбуженные музыкой и верными словами.

И вновь инициативу взял на себя Петр Ефимович, правда, уже не актерствуя:

– Ну, что ж, знатно, надо сказать, ты, Игорь, нас усладил. Талантливо. Предлагаю выпить за талант, – закончил он, разливая по бокалам шампанское, уже не так охотно играющее за прозрачным стеклом веселыми пузырьками.

Все снова собрались у стола, каждый на своем месте, и молча выпили. И только по взгляду Галины, обращенному ненадолго ко мне, я понял, что она довольна и тем, что я попел, и тем особенно, что сказал Петр Ефимович. Его оценки, по-видимому, имели для нее немаловажное, а может быть, даже и решающее значение.

Я тоже выпил свой бокал с большой охотой, словно томимый жаждой, и тоже молча, как и все остальные. Причем у меня было такое ощущение, словно я уже прощаюсь навсегда со всеми, а не только со старым Новым годом и новогодней елкой, о чем пелось в последней песне...

Первый день нового года выдался тусклым, подслеповатым каким-то.

Было такое ощущение, что он, как и большинство обитателей притихшей квартиры, никак не может проснуться, разгуляться после бесшабашной, веселой ночи.

Я лежал в своей, вернее, Ларисиной комнате и прислушивался к тишине. И мне было грустно и очень одиноко. И от того – что завтра мне уезжать. И от того, в первую очередь, что мне сказала в своей комнате после полуночи, значит, уже сегодня, Галина. И мне почему-то

казалась, что она вот-вот тихонько войдет в мою комнату в домашнем халате, а не во вчерашнем красивом платье и скажет уже совсем другие слова, не о том, что нам мешает быть вместе, а о том, как она меня любит...

Дверь в мою комнату тихонько приоткрылась.

– Не спишь? – чуть хрипловатым голосом спросил Петр Ефимович, просовывая голову в образовавшееся пространство – уже умытый и причесанный. – Подходи на кухню, посидим маленько. А то женщины и до вечера могут проспать. А пить в одиночку – последнее дело.

На кухне, после того как я тоже умылся и причесался, мы с Петром Ефимовичем (а было уже двенадцать часов дня, почти обед, и, значит, с полуночи прошла половина суток первого дня года) мы слегка, по его словам, взбодрились, выпив по несколько рюмок холодной водочки. Закусывая селедочкой с луком, очень вкусным домашним холодцом и прочими разносолами – рыжиками, солеными огурчиками, квашеной капустой – извлеченными отцом Галины из холодильника.

Петр Ефимович ни о чем не спрашивал, а просто, иногда, внимательно глядел на меня, будто изучая или находя что-то новое. И, видимо, угадывая мое не очень веселое настроение, он, время от времени наполняя рюмки водкой, произносил один и тот же тост: «Ну, будем...»

Хмель, впрочем, не брал. И забыться оттого никак не получалось. А от рюмки к рюмке становилось только еще хуже и тоскливее...

На кухне, тоже уже умытые и прибранные, одна за другой, вскоре появились Евгения Ивановна и Галина.

Застолье продолжилось, но уже с бефстрогановом и поджаристой, хрустящей картошечкой-фри. Все это Евгения Ивановна успела разогреть в большой сковороде на электроплите. Однако прежнего вчерашнего веселья, несмотря на все ухищрения Петра Ефимовича и на его витиеватые бодрые тосты, все-таки не получалось, будто все еще не до конца проснулись. А ближе к вечеру все и вовсе разбрелись по своим комнатам, не став даже смотреть по телевизору в гостиную новости, как это было по вечерам все предыдущие дни.

Я в своей комнате стал укладывать мою дорожную спортивную сумку и вдруг совсем неожиданно для себя улыбнулся, радуясь завтрашнему отъезду, который как будто мог решить все мои здешние проблемы. И, мысленно сказав себе: «Ну, вот и пришла пора уезжать», я с какой-то необычайной теплотой подумал о скорой встрече с родителями и сестрой, которых очень любил и которые любили меня. Подумал и о встрече со своими старинными, еще со школьной скамьи, друзьями, которых в Питере у меня еще не завелось. А, подумав обо всем этом и о своем предстоящем скором отъезде, мне отчего-то припомнились строки из стихотворения Иосифа Бродского: «Чем безнадежнее, тем даже как-то лучше...» А потом на ум пришли слова из песенки, которые я непроизвольно стал прокручивать в своей голове, укладывая вещи: «Все нас из дому гонят дела, дела, дела... Все нас из дому гонят дела, дела, дела... Понадежнее было бы рук твоих кольцо – покорооче дорога бы мне назад была...» Однако ни кольца из рук Галины, ни надежды вернуться сюда опять у меня, увы, не было...

На следующий день некий бравый, правда, отнюдь не такой упитанный, как бравый солдат Швейк, а, напротив, худенький, несмотря на объемный бушлат на нем, солдатик, на военном газике, на котором он же рано утром отвез на службу Петра Ефимовича, по его распоряжению прибыл за мной, чтобы доставить на вокзал. Он даже попытался взять у меня мою дорожную сумку, чтобы донести до машины. Но я ему этого сделать не позволил.

В прихожей, когда из нее не получивший разрешения «помочь с вещами», исчез водитель газика, отправившийся к своей машине во дворе, Галина поцеловала меня в щеку. Причем так, как будто она целовала своего брата, притом не очень любимого.

– Ты меня извини, – сказала она, отстранившись. – Я с тобой на вокзал не поеду. Не люблю долгих проводов. («И снова все, как у режиссера Киры Муратовой...» – мелькнула у

меня в голове мысль, с ее одноименными и такими хорошими фильмами. – Только теперь уже не «Короткие встречи» – они прошли, а «Долгие провода».) Вот возьми. Это мама тебе собрала в дорогу. – И она почти насильно сунула мне в руку большой бумажный пакет с различной снедью. Пирожками с печенкой, бутербродами и бутылкой вина. – Это чтобы тебе не было грустно, – закончила она, указав глазами на бутылку отличного красного вина, когда я раскрыл пакет, чтобы посмотреть, что там. – В пакете есть и бумажные стаканчики, – отчего-то поспешно добавила Галина, словно спешила поскорее выпроводить меня из квартиры и остаться одной. – Ну, пока, – еще раз приложила она к моей щеке, совсем уже холодным, протокольным, словно спешила поскорее выпроводить меня из квартиры и остаться одна, поцелуем...

Высадив меня у здания вокзала, газик, взвихривая за собой снежную пыль, лихо развернувшись на привокзальной площади, помчался в обратную сторону, в город.

А я вошел в гулкие и почти пустынные (мало было охотников куда-то ехать на второй день нового года) залы вокзала. И, несмотря на напутственные слова Галины не грустить, не то что грустил, но даже ощущал в себе какую-то стонущую во всем моем существе тоску. И во время обратной дороги, среди тех же белых полей, в мчащейся в Москву электричке, вздымающей по бокам вагона снежные вихри, состояние это не оставляло меня. И я все размышлял о том, что чего-то не успел, не сумел, сделать во время этой поездки в Серпухов. Что-то важное упустил...

И еще отчего-то мне то и дело припоминались то отдельные строки, то целые куплеты из песни Булата Окуджавы, «Прощание с новогодней елкой», которую я с таким вдохновением и такой безысходной грустью пел еще вчера. Особенно часто в моей голове крутились вот эти строки, которые я время от времени напевал себе под нос:

Синяя крона, малиновый ствол,  
звяканье шишек зеленых.  
Где-то по комнатам ветер прошел:

(И я с такой очевидной ясностью вспоминал большую, уютную квартиру Галины.)

Там поздравляли влюбленных.

(И влюбленными этими были, конечно же, я и она.)

Где-то он старые струны задел —  
Тянется их переключка...  
Вот и январь накатил-налетел,  
Бешеный, как электричка.

«Да, именно так. Бешеный, как электричка, январь, подминающий под себя прошлое. Все, что уже минуло. И плохое и хорошее. И даже ту надежду, на новогоднее чудо», – нянчил я в голове подобные мысли, стараясь усыпить свою боль. И не предполагая даже прежде, что такое, эта вот безнадега, может настичь и меня. Всегда такого веселого и оптимистичного. Всегда гордившегося в глубине души своей, казалось, своей непоколебимой волей. Как будто скукожившейся теперь до малых размеров, почти испарившейся, ставшей неосязаемой так же, как и тот стержень во мне, позволяющий прежде всегда держать спину прямо. В независимости от самых трудных и, казалось порою, безвыходных ситуаций.

Подобные мысли сопровождали меня всю дорогу до Москвы. И приободриться мне никак не удавалось. Но и раскисать совсем тоже не хотелось...

Прибыв в столицу и собрав остатки воли в кулак, я отправился на метро к своему приятелю Андрею Данилову, у которого собирался провести остаток дня и переночевать, не очень надеясь, впрочем, без предварительного звонка застать его дома.

С Андреем мы познакомились и подружились на Белом море, на биостанции Зоологического института, куда он приезжал как-то года три назад в командировку от журнала «Наука и жизнь» сделать серию репортажей «о молодых советских ученых и их открытиях». Открытий особых Андрею, конечно же, обнаружить на беломорской станции не удалось, а вот молодые ученые, в разряд которых он включил и меня, налицествовали в достаточном количестве.

Мне и на сей раз тоже повезло, как и в Серпухове, куда я тоже явился без предупреждения. Андрей оказался дома, как раз готовясь отобедать.

Мы с ним, чтобы не заморачиваться насчет еды и выпивки, растормошили пакет Галины.

Съев очень вкусные пирожки с печенкой, разогретые Андреем на сковородке, и запив их прекрасным португальским сухим вином, достали из пакета и прочие припасы – бутерброды с бужениной, сыром и зеленью. Присовокупив к ним теперь уже семисотграммовую бутылку водки «Столичная», извлеченную хозяином из домашнего холодильника.

– По возрастающей – в смысле градусов, можно, – успокоил меня Андрей, ставя на стол чуть запотевшую бутылку.

Впрочем, с моей стороны никаких возражений и не было. Поскольку мне тупо хотелось напиться, вернее, опьянеть, чтобы хоть ненадолго избавиться от этой своей прилипчивой тоски о Галине.

Однако напиться, как и накануне в Серпухове с Петром Ефимовичем, у меня не получалось. Хмель не брал, и забытие не наступало.

– Ну, что? Еще одну отоварим, – указал Андрей глазами на опустевшую часа через два бутылку, кивнув головой в сторону холодильника. – Или баиньки? Можно и яишенку еще раз сгоношить, – похоже, решил не останавливаться на достигнутом мой приятель.

– Баиньки, – твердо ответил я ему, поняв, что хочу остаться один.

– То-то, я гляжу на тебя, не в коня тебе нынче овес, – сделал свои выводы Андрей. – Смурной ты какой-то. На себя не похожий. Что не так?

– Да все вроде бы так, Андрюха. А на душе тем не менее паршиво. Ведь все мы, каждый человек, непременно ждем от Нового года каких-то чудес. А их у него в заглазнике, как выясняется в последний момент, и не оказывается. И все остается таким же серым, будничным, обыденным, тоскливым. Словно саму жизнь до конца дней своих ты вынужден волочить за собой, будто по песку, как неподъемную гирю, пристегнутую к ноге...

– Ну, баиньки, так баиньки, – согласился мой приятель, – и глубокомысленно добавил, начиная убирать со стола в раковину грязную посуду. – Тут уж, действительно, водочка, похоже, не поможет. Она, брат, против любви, особенно неразделенной, бессильна. Одно могу тебе сказать для утешения. Строками стихотворными неведомого мне поэта, которые я, однако же, запомнил отчего-то: «Не создавай себе кумира. Не называй брильянтом медь. Пойми несовершенство мира, чтобы потом не пожалеть...» Да, вот еще что. Завтра у меня предстоит довольно трудный день, так что отвезти тебя в аэропорт я не смогу, уж извини.

– Да я сам доберусь, – ответил я Андрею. – На метро доеду до центрального Аэровокзала. Там зарегистрируюсь. А оттуда меня до Домодедово уже аэрофлотским автобусом, прямо к рейсу, доставят. Так что не беспокойся.

– Но кофе мы с тобой утром, я надеюсь, выпить успеем, – продолжил Андрей, зажурчав струей воды над раковиной, чтобы вымыть посуду. – А если уйду из дома раньше тебя, закроешь квартиру, ключ я тебе оставлю, и отдашь потом соседке – пенсионерке. Она всегда дома. Но я ее еще предупрежу, на всякий случай.

На следующий день, во второй половине дня по московскому времени, я без задержек улетел в Сибирь.

Приземлившись рано утром, уже по местному времени, в аэропорту Иркутска и шагая от трапа самолета до близкого аэровокзала, с неприязнью отметил для себя, что и здесь, в Сибири, все как-то серо, хмуро, настороженно вроде.

«Тоскливый какой-то год начинается, – подумалось мне. – Где наше обычное сибирское солнце, по которому я так тосковал и в Питере, и на Белом море. Хотя какое солнце в шесть часов утра, в начале января...»

Дома же, напротив, все было очень хорошо, все были искренне рады мне. И мое тосливо-тревожное чувство как бы померкло, выцвело будто на действительно ярком сибирском солнце...

Через пару дней, возвратившись из Сибири в Ленинград, я убедился, что моя тоска, оказывается, просто раньше меня перекочевала в сей град Петра. Ожидая меня в казенной комнате аспирантского общежития, в котором на площади Мужества (да, видно мужества-то мне как раз не доставало) я жил со многими другими аспирантами со всего Советского Союза с его шестнадцатью национальными республиками. Причем живущие со мною по соседству, на нашем втором этаже, казахи обычно приглашали меня по воскресеньям на очень вкусный, сочный плов. Готовили они его на общей кухне, которые были на всех четырех этажах аспирантского общежития, в специальном казане, привезенном с собою из дома. И плов, и зеленый чай, который они пили с финиками и ядрами грецких орехов, приучив к этому и меня, все было очень вкусно. Но от тоски все равно не спасало, а лишь на время притупляло ее.

А еще одна моя соседка по этажу – рыжеволосая, с белыми ресницами, как у телушки и синими, словно сибирское небо зимой, глазами финка Айну Юкка, ни с того ни с сего на Рождество вдруг, заглянув накануне вечером – в сочельник в мою комнату, подарила мне цветастый, модный, с очень необычным рисунком, галстук, объяснив, что на нем изображена яйцеклетка под электронным микроскопом. И поскольку мне отдариться было нечем, я пригласил ее в ближайший выходной (благо что только что получил стипендию) в кафе «Три ступени» на Невском проспекте. Правда, когда мы через пару дней пришли в это кафе, девушка заявила, что платить мы будем каждый за себя или разделим общую сумму поровну. Я, конечно же, собрался возразить, но, взглянув на цены в меню, не стал этого делать, предложив для начала выпить по коктейлю «Белый медведь» – водку с шампанским. Что мы незамедлительно и сделали. После чего уже Айну предложила выпить коктейль – «Бурый медведь», что, по ее мнению, больше подходило для сибиряка, где бурые медведи, в чем она была почти уверена, спят прямо в подъездах жилых домов, под лестницей, не строя себе берлог. Коктейль теперь (прежде я такой никогда не пил и о коварстве его, естественно, не догадывался) состоял все из того же шампанского, но вместо водки в него добавлялся коньяк. Причем чуть ли не в равных пропорциях. И зелье это, надо сказать, было более убойное, чем предыдущее, то есть «Белый медведь».

Надрались мы с Айну, что с самого Нового года мне никак не удавалось, надо сказать, довольно скоро, решив выйти на Невский проспект прогуляться, а заодно и проветриться. Не имея перед собой пока никакой определенной цели нашего движения.

Выйдя на Невский проспект, мы, не сговариваясь, двинулись в сторону Адмиралтейства. И я, помнится, решил моей попутчице, весьма посредственно, кстати, говорившей по-русски, прочесть наизусть стихотворение Блока (так любившего этот призрачный город) «Незнакомка». И это было, как мне тогда казалось, очень уместно. Ибо Айно, или Айну, в переводе с финского означало «единственная». Единственной для меня, конечно же, не являлась, а вот незнакомкой, вернее, не совсем знакомкой, вполне могла быть. Поскольку мы с нею встреча-

лись или на этаже, или в общей кухне, или столовой, в другом корпусе на первом этаже, не так уж часто. И знакомство наше было просто шапочным, то есть весьма поверхностным.

Причем читал я стих не с выражением, а, как мне казалось, выразительно, с искренним чувством, на которое только был в тот миг способен. И хотя я знал, что Блок написал это стихотворение в Озерках – на даче 24 апреля 1906 года, я представлял себе, что оно было написано где-то тут, на Невском проспекте. И чуть ли не в кафе «Три ступени», расположенном в цокольном этаже дома, где из окон его видны лишь ноги людей, идущих по тротуару Невского проспекта.

Итак:

По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.

Мне казалось, что Айну не совсем точно, а вернее, совсем не понимала о чем говорится в стихотворении, написанном семьдесят лет назад, но я все же с упорством графомана продолжал декламацию стиха, для пущей убедительности варьируя звуки и широко размахивая руками.

И каждый вечер, в час назначенный,  
(Иль это только снится мне?)  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.

– Стан, где косари? – спрашивала Айну, не понимая всех слов. – Или это девичий стон?

И поскольку стан самой Айну был не шелками, а дубленкой (редкостным дефицитом в те времена) схваченный. Точнее, наоборот, не схваченный, поскольку она была распахнута на все пуговицы снизу доверху, я вынужден был наглядно объяснять ей, что такое стан, пытаюсь обхватить ладонями ее так называемую, а точнее, отсутствующую талию.

Айну была дочерью финского фермера и, приезжая домой на каникулы, помогала отцу и матери ухаживать за скотиной и косить сено, о чем с гордостью говорила мне в кафе. И фигура ее от всех этих сельских работ была крепенькая, монументальная. Оттого и стан косарей она знала лучше, чем стан девичий, особенно на русском языке, который еще не знала как следует.

Показав все наглядно, что было воспринято Айну как ухаживание, отчего она даже потянулась ко мне, я продолжил декламацию, закончив стих на высокой ноте:

В моей душе лежит сокровище,  
И ключ поручен только мне!  
Ты, право, пьяное чудовище!  
Я знаю: истина в вине.

Честно говоря, в данный момент я сильно усомнился в том, что: «Истина в вине», поскольку мне стало плохо и я почувствовал почти неотвратимый приступ тошноты.

Мы с Айну скоренько свернули с Невского проспекта под арку Генерального штаба, на Дворцовую площадь. И здесь вольный ветер слегка притупил мое тошнотворное чувство. И мне даже стало будто бы немного легче. И даже хватило сил поднять очи к небу, точнее, к ангелу, стоящему на вершине Александрийского столпа, который безуспешно пытался разо-



гнать своим крестом свинцовые тучи, низко проплывающие по небу и то и дело цепляющиеся за верхнюю часть креста.

Здесь мне и пришла в голову мысль дойти до Зоологического института. От нашей лаборатории у меня был ключ, и дежурный сторож наверняка пропустит меня внутрь, поскольку сотрудников института сторожа знали в лицо. А там мы сможем выпить с Айну крепкого кофе, и в случае повторного приступа тошноты, я смогу воспользоваться туалетом.

Повернувшись к Айну, я предложил ей выпить по чашечке крепкого кофе в нашей лаборатории, на что она с готовностью согласилась, по-видимому, снова восприняв это как мой коварный план по ее неминуемому соблазнению...

На Дворцовом мосту мне внезапно стало совсем плохо. Причем настолько, что удержать тошноту я в себе уже не мог. Пospешно опершись о перила моста и почти перевесившись через них, я не удержался и «хвостанул харчом». Туда, вниз, прямо в далекую текущую Неву. Заметив при этом краем глаза – и некую досаду и удивление на лице Айну, и то, как легкой и стремительной, пружинящей походкой, в идеально начищенных хромовых сапогах и ладно сидящей на нем шинели к нам спешит милиционер. И в этот самый миг я понял, что твердость носка его сапога я, скорее всего, скоро смогу ощутить своим копчиком.

– Что здесь происходит? – строго спросил старший лейтенант (на погонах у него было три звездочки), оглядывая нас обоих. Девушку в длинной – значительно ниже колен, расстегнутой дубленке и зеленоватого вида ее друга в спортивной куртке.

Айну что-то быстро начала объяснять молодому лейтенанту, причем по-фински. Иногда лишь с большим акцентом, видимо, специально делая это, показывая на меня, произнося что: «Мой друг, страшно устал. Ему плохо...»

– Идите отсюда, – уже миролюбивее сказал милиционер, указывая рукой на другую сторону моста, и значит, на другой берег Невы. На Стрелку Васильевского острова, где и располагался Зоологический институт, куда мы с Айну, собственно говоря, и направлялись.

Она взяла меня под руку, как больного, и мы с ней тронулись в путь, а милиционер, резко развернувшись, чуть ли не строевым шагом устремился к Эрмитажу. А дующий с его стороны резкими порывами ветер успел донести до нас его возмущенные слова, хоть и негромко, себе под нос, произнесенные:

– И когда это в Финляндии закончится сухой закон? А то эти финны в Питер приезжают только, чтобы надраться...

Перейдя мост, мы отчего-то пошли не налево, к дверям института, а свернули направо, к Ростральным колоннам...

Айну достала из своей сумочки влажные салфетки и тщательно вытерла мне губы и лицо. Потом протянула мне еще какой-то бутылек с зеленоватой жидкостью, чтобы я прополоскал рот. То же сделала и сама. А потом, будто теряя сознание, почти упала не меня, опирающегося спиной о парапет, всей своей сбитой, и отнюдь не пушиночной, фигурой, прильнув к моим влажным, чем-то приятно пахнущим после влажных салфеток и полоскания рта губам. И мы, словно обезумев, стали целоваться. Причем она весьма настойчиво то и дело старалась запахнуть меня длинными полами своей расстегнутой дубленки, отчего я всякий раз убеждался, что она довольно сильная девушка, с очень крепкими руками, которые так и старались вжать мое тело в ее. Сотворив из нас двоих нечто единое, неразделимое, как: «Народ и партия», о чем почти на всех углах тогда нас извещали столь бодрые лозунги...

Несколько раз потом, после этого нашего похода в кафе, встречаясь в общежитии, Айну приглашала меня на чай в свою комнату, расположенную в самом конце длинного коридора, с двумя противоположными друг другу рядами одинаковых дверей вдоль него. Но я всякий раз под тем или иным благовидным предлогом отказывался. И в конце концов она прекратила

свои приглашения. И в дальнейшем, – при наших неизбежных, хоть и случайных, встречах на этаже или в холле общежития, или в столовой, – на мое бодрое: «Айну, привет!» только холодно кивала мне в ответ. А вскоре я заметил как, весело смеясь чему-то, в комнату Айну вместе с ней проследовал аспирант из Кутаиси – грузин Владимир Мдивани, который занимал комнату с еще одним математиком из Саратова напротив моей...

Отчего-то именно после этого случая в кафе «Три ступени», к входным дверям которого с Невского проспекта действительно вели лишь три широких ступени, я стал все чаще задумываться над тем, правильный ли я избрал путь, занимаясь наукой? Мое ли это призвание? И не пора ли мне снова из этого мрачноватого Петербурга вернуться домой? К идеально белому снегу, янтарным соснам, яркому солнцу, морозу, невероятно голубому бездонному небу.

Где-то в конце января я написал Галине длинное письмо, главным образом, о своей любви к ней, поскольку свое неопределенное положение мне было все тяжелее переносить. Хотелось ясности.

Однако ответа на это письмо я не получил.

Через какое-то время, скорее всего, уже в середине февраля, я написал ей еще одно письмо, уже довольно сухое, почти деловое, ироничное. (Отчего-то я не решался пойти на почту и заказать там междугородние переговоры, чтобы просто поговорить с ней.) В письме этом я уже не писал о своих чувствах, а как бы советовался с ней, словно с добрым товарищем. Высказав, в частности, свои сомнения по поводу аспирантуры и свое намерение бросить ее и заняться тем, к чему лежит душа. Писанием рассказов...

На это письмо ответ пришел быстро. Галина писала, что, по ее мнению, бросать аспирантуру, будучи успешно переаттестованным, уже на третий – заключительный, учебный год просто глупо. Надо, наоборот, поднатужиться и защитить диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. Тем более в таком солидном научном учреждении, как Зоологический институт.

«А к тому же ты уверен, Игорь, что именно литература – твое истинное призвание? А главное, что ты сможешь стать писателем?» – разумно спрашивала она в конце письма. И я понимал, что ответов на эти ее вопросы у меня нет. В тот период моей жизни я не был уверен ни в чем. А сухой, деловой, в лучшем случае дружеский тон ее письма – не более того – и вовсе привел меня в какое-то отупляющее уныние. Ведь письмо-то пришло, как я считал, ни от кого-нибудь, а от любимой девушки, которой я, похоже, в общем-то, не нужен и не интересен. И в котором я ожидал прочесть совсем другие строки.

Перечитав письмо еще раз и надеясь все же найти в нем хоть какие-то отголоски скрытой любви или нежности и не найдя ничего, я твердо решил – не набиваться больше Галине в женихи. Любовь, как милостыню, не выпрашивают. Это недостойно мужчины. Более того, я дал себе слово не думать о ней, а еще лучше – постараться забыть ее.

И еще я решил, вопреки любым, может быть, и неблагоприятным обстоятельствам, стать писателем. Причем не просто писателем, а известным писателем. Прежде, женившись на какой-нибудь порядочной девушке, которая полюбит меня и которую я постараюсь тоже полюбить. И назло всему и всем буду жить с ней счастливо.

И, как ни удивительно, вместе с моей решимостью ко мне как бы начала возвращаться и моя воля, которой я всегда так гордился и дорожил. Поскольку твердо был уверен в том, что воля – это кратчайший путь к достижению любой цели...

Примерно через неделю после прохладно-делового письма Галины я написал в секретариат Академии наук заявление с просьбой об отчислении меня из аспирантуры по собственному желанию. Без добавления каких-либо иных обстоятельств, кроме собственного хотения, что, собственно говоря, и было основным фактором, подтолкнувшим меня к столь

серьезному и, я бы даже сказал, судьбоносному, хотя и безрассудному, конечно, шагу. Ведь фактически я вступал в некую зону неизвестности.

Заявление мое, мягко говоря, вызвало недоумение и у моего шефа, и у моих коллег по Зоологическому институту. Многие из которых при встрече со мной просто крутили пальцем у виска, стараясь показать мне, что я совершаю невероятную глупость.

Однако решение было принято, и я его менять не хотел...

Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что многие мои коллеги по Зоологическому институту были правы. И мне, конечно же, надо было закончить аспирантуру и защитить диссертацию. Но в то время я считал единственно верным для себя решением решение наконец-то всерьез заняться литературным творчеством.

Впрочем, если бы я знал, что ждет меня впереди, сколько невероятных, казалось порою, непреодолимых препятствий возникнет на моем пути, думаю, что я бы изменил свое решение. Но, как известно, жизнь, как и история, сослагательного наклонения не имеет.

К тому же я отчаянно верил в то, что жизнь любит меня, поскольку я люблю ее. И, несмотря на все временные трудности и напасти, мне все удастся преодолеть.

И только вернувшись назад, в Сибирь, я в полной мере, причем очень быстро, осознал произошедший со мной катастрофический факт, который я, благодаря своему упрямству и, что уж греха таить, просто глупости, совершил собственными руками, фактически сломав свою судьбу. Поскольку времена для меня начались не просто трудные, а в какой-то мере почти безвыходные.

В Лимнологический институт, из которого я был направлен в аспирантуру и куда должен был вернуться уже остепененным специалистом, мне на приличную должность устроиться не удалось. Ибо свободных вакансий, кроме лаборанта для мытья пробирок, у них на тот момент просто не было. Но работать лаборантом, да еще за мизерную зарплату, мне не позволяла гордость. Ведь я почти закончил аспирантуру! И через какое-то время, не найдя ничего лучшего в научных учреждениях Иркутска, я устроился работать грузчиком на продовольственную базу Ангарска. Где, пожалуй, единственным плюсом было то, что огромная эта база, снабжающая весь город продуктами, находилась недалеко от родительского дома, вернее, нашего 219-го квартала, где у родителей (а значит, и у меня) была трехкомнатная квартира.

Конечно, после мраморных ступеней Зоологического института, по которым я, в белом халате, неспешно вышагивал, направляясь в ту или другую лабораторию или библиотеку и где, встречая меня, коллеги и даже доктора наук и академики здоровались со мной за руку и называли на «вы», реалии продовольственной базы разительно отличались от того, с чем я, притом по собственной дурости, расстался. И еще эти реалии разительно отличались от моих мечт о какой-то чистой, высокооплачиваемой работе, с наличием при этом достаточного свободного времени, для того чтобы писать рассказы.

Впрочем, постепенно втянувшись в работу грузчика, благо что бригада из четырех человек – вместе со мной – подобралась хорошая. Мужики оказались не подавальщиками и старались зашибить деньгу, а не пропить ее, как это делали представители многих других бригад, я впоследствии обнаружил в ней и некие плюсы. Во-первых, хороший заработок. Поскольку платили на базе сдельно и ежедневно. И заработок твой зависел только от тебя. Чем больше разгрузил вагонов в складские помещения или загрузил из них же машин, развозящих продукцию по магазинам города, тем больше и получишь. И иногда после дня трудов, перетаскав на своих руках тонны продукции, я мог получить в кассе базы по окончании трудового дня аж 25 рублей! По тем временам сумма весьма значительная, тем более если учесть, что средняя зарплата в стране колебалась тогда от 120 до 140 рублей, а моя аспирантская стипендия составляла 87 рублей.

И еще мне нравилось, что, втянувшись в этот отнюдь нелегкий труд, я очень скоро перестал уже испытывать ту безмерную усталость, которая просто валила меня с ног в конце дня

первую неделю работы на базе. Мышцы у меня заметно окрепли. И это очень нравилось мне. Я чувствовал себя сильным, неподвластным никаким обстоятельствам. Только вот времени свободного, как мне мечталось, для моего основного дела у меня, увы, почти не было.

И после дневных трудов я обычно дома успевал только принять душ, съесть приготовленный мне мамой ужин и еще немного почитать. Добравшись же до постели, падал в нее, как в бездонную пропасть, засыпая, кажется, на ходу крепким сном здорового, хорошо поработавшего и изрядно уставшего человека. И только изредка, обычно в выходные или поздно вечером, если я не очень уставал на базе, мне удавалось, немного поупражняться в писании определенных текстов. А ведь текст, особенно художественный, это почти всегда некая попытка размышления по поводу того, что тебе неизвестно, чего ты еще не знаешь. Именно поэтому и серьезные тексты, скажем, рассказы, не писались. Я все никак не мог и даже в какой-то мере боялся к ним приступить. Может быть из-за этой боязни из-под моего пера (точнее – авторучки, заправленной черной тушью), да и то не часто, на бумагу просились в основном стихи. Весьма несовершенные, как я теперь понимаю. Но искренние. И в этом был, пожалуй, их единственный плюс.

И я все больше начинал понимать, что перспектив для написания чего-то серьезного на моей нынешней работе грузчиком у меня почти нет.

Мои же стихи и первые робкие рассказы – даже рассказыки, отчего-то нигде не спешили печатать. Отовсюду, почти из всех журналов, куда я их упорно посылал, мне приходили вежливые отказы. А чаще и вообще ничего не приходило, будто я выбросил свои, дорогие для меня, пусть и несовершенные, творенья в мусорное ведро. И я все чаще стал задумываться над тем, что вряд ли из меня получится писатель. Да еще знаменитый. В связи с чем, все чаще вспоминалась Галина и ее справедливые вопросы ко мне в последнем письме. И от этого забыть ее совсем мне тоже не удавалось. Хотя уже и той сквозящей во мне тоски по несостоявшейся любви тоже, надо сказать, не было.

Так что из моих данных самому себе в Ленинграде за шаг до ухода из аспирантуры обещаний оставалось только одно, в котором можно было попытаться преуспеть. Это жениться на хорошей, порядочной девушке и назло всем быть с ней счастливым. И тут вопрос состоял лишь в том, где такую девушку найти. На базе их точно не было. Да и квартиры своей у меня не было. И в ближайшем, и даже более отдаленном будущем – получение собственного жилья явно не предвиделось. И я, частенько размышляя об этом, с отрезвляющей горечью думал, что Галина почти во всем оказалась права. Действительно, как можно жениться, если новой семье негде жить? Вернее, конечно, есть где – у родителей жены или своих. Но этот вариант казался мне неприемлемым, неестественным и неправильным. Ибо даже птицы имеют свое гнездо, а звери – свою нору...

И тут вдруг, так неожиданно, как многое бывает в нашей жизни, через своих знакомых, отец моего приятеля – начальник «СМУ-Водстрой» Задумов, предложил мне устроиться в их контору, выучившись предварительно за счет предприятия на бурового мастера, чтобы не работать простым буровиком – фактически чернорабочим. Тем более что именно буровых мастеров, а не обычных рабочих в СМУ катастрофически не хватало.

– Образование у тебя высшее. Нашу специальность, я думаю, ты сможешь освоить без особого труда, – убеждал меня при встрече начальник СМУ, с сыном которого, Юрием, мы вместе когда-то (и казалось, что уже очень давно) работали в Лимнологическом институте. – Зарпалты у нас хорошие. Если три семидесятиметровые скважины в месяц выдавать, что вполне реально по нашим не очень твердым грунтам, то рублей семьсот будешь получать. Да и свои дома мы силами нашего СМУ строим. Вот недавно новый дом заложили в Кооперативном переулке Иркутска, в самом, можно сказать, центре. Года через два его уже сдадим. Ну и распределим жилье, естественно, между своими работниками. Будешь хорошо работать и ты

квартиру получишь. Тебе ведь уже тридцать скоро – надо и семьей обзаводиться, – улыбнулся понимающей улыбкой начальник, будто прочитав мои сокровенные мысли.

На эту сладкую приманку я и купился.

И, быстренько уволившись с базы, устроился в «СМУ-Водстрой», почти сразу укатив на полгода на учебу в Ростов-на-Дону, где в очень хорошо оснащенном комбинате как раз и готовили буровых мастеров для всего тогдашнего Советского союза.

И уже на следующий год, в конце октября 1979-го, вернувшись из Ростова в мае того же года и работая буровым мастером, я женился, хотя квартиры в Кооперативном переулке, на что мне намекал начальник СМУ, при моем устройстве на работу, так и не получил. Впрочем, СМУ заложило еще один дом. И, как заверил меня начальник, после одной из планерок по понедельникам: «В следующем доме, Игорь, ты квартиру точно получишь. Показатели производственные у твоей бригады за полугодие хорошие. Да и старожилы СМУ не будут ворчать, что, дескать, квартиру новичку по благу сразу выдали, ибо до сдачи дома уже пройдет какое-то время».

На следующий, 1980 год – год шестисотлетия Куликовской битвы, 21 декабря, в Ангарске, где мы жили с моей женой Наташей (кандидатом биологических наук, с которой познакомилась, кстати, тоже на биостанции Больших Котов) в квартире моих родителей, у нас родился сын. В честь князя Дмитрия Донского, победителя битвы на поле Куликовом, мы и сынишку своего назвали Дмитрием, надеясь в скором времени обзавестись наконец-то и своим жильем.

Однако в небольшом двухэтажном доме из двух подъездов, достроенном «СМУ-Водстрой» в следующем, 1981 году, квартиры мне тоже не досталось. По той простой причине, как объяснил мне начальник, что ни однокомнатных, ни даже двухкомнатных квартир в нем просто не было. А были только трех-четырекомнатные (будто он не знал об этом прежде), в которые быстренько вселились всевозможные начальники и начальнички СМУ. В том числе и руководивший нашей конторой отец моего приятеля Эрнест Григорьевич Задумов с семьей, переехав тоже из очень хорошей, просторной квартиры, с относительной окраины в центр города.

И хотя это меня сильно обидело, я все же вновь поверил очередным уверениям руководителя СМУ, что года через два они планируют заложить еще один дом для своих работников, где будут уже в основном, одно-двухкомнатные и несколько трехкомнатных квартир. А время между тем, бежало, не зная остановок, и теперь мы с Наташей и сыном, когда она вышла из декретного годового отпуска, жили уже в Иркутске, в трехкомнатной квартире моей тещи Марии Ивановны. Где кроме нас обитала еще семья ее сына Александра с женой Светланой и дочерью Машей.

И как-то, вернувшись из одной из командировок на север области, я задержался после планерки по понедельникам у начальника СМУ, решив наконец-то выяснить этот болезненный для меня вопрос с жильем.

– Игорь, тебе ведь однушка нужна? – на голубом глазу осведомился босс, когда я затронул этот вопрос. – Если я тебе дам двушку, коллектив этого не поймет. Ты ведь у нас работаешь всего несколько лет. А люди десятилетиями ждут квартир. Вот как однушки будут – сразу и получишь. Годика через два-три, – уточнил начальник, полагая, по-видимому, что утешил меня.

Что мне оставалось делать? Только снова ждать и надеяться. Поскольку надежда, как известно, умирает последней.

А к тому же я так был рад рождению сына, которого, как и жену, к сожалению, из-за своих постоянных и частых командировок видел довольно редко, что эту радость трудно было, казалось, омрачить подобными житейскими неурядицами. Да и жена мне досталась, к огромному моему счастью, хорошая, понимающая. И чем больше я узнавал многие ее прекрасные черты характера, тем больше чувствовал себя счастливым и даже почти влюбленным в нее.

Ко всему прочему Наташа оказалась не только любящей, заботливой женой, но еще и отличной матерью для нашего сынишки, которого я всякий раз будто бы заново узнавал, вернувшись из очередной командировки (иногда длящейся недели три, а то и месяц), так быстро он рос. И я частенько с грустью думал, что проглядел уже многие вещи, происходящие в мое отсутствие, которые видела Наташа. Первые его шаги, первые слова такого любимого нами крохи...

И, задумываясь над своей судьбой, купаясь в том счастье, которое испытывал рядом с Наташей и Димой, я порою даже с каким-то недоумением и страхом, что эта идиллия спокойствия и гармонии в семье может когда-нибудь закончиться, размышлял о том, как это мне – такому, в общем-то, неудачнику, достался такой бесценный бриллиант, как моя жена, и рожденный ею сынишка. Более того, я с каждым днем все больше и больше восхищался ее внутренней красотой, во много раз превосходящей ее внешнюю неброскую привлекательность. Утверждая в мысли, что, пожалуй, именно такими женами и матерями всегда становятся добрые от природы, порядочные люди. А именно такой Наташа и была.

И живя вместе с ней, я все чаще задумывался над тем, что, хоть одно обещание, данное самому себе, мне осуществить все же удалось. И во всем моем тогдашнем состоянии, в той бочке меда нашей совместной жизни, была только одна ложка дегтя, портящая все. Это то, что я никак не мог насмелиться заняться литературным трудом основательно. С одной стороны, этому мешала боязнь, неуверенность в себе, в своих силах при достижении тех литературных вершин, которых бы я хотел достичь. А с другой стороны этому мешало элементарное отсутствие свободного, спокойного времени, когда можно сосредоточиться на писании рассказов.

А потом как-то незаметно – сначала в основном в сибирских, а потом и во всесоюзных журналах, хотя и крайне редко и в очень небольших объемах, стали появляться мои стихи и рассказы. А затем появились и первые, совсем тоненькие еще, книжки...

А еще наша семья: Я, Наташа, Дима и ее мама Мария Ивановна, стали наконец-то жить (с 1983 года, поскольку в «СМУ-Водстрой» квартиру я так и не получил) в своем собственном двухэтажном коттедже, в небольшом городе Байкальске. (В этот городок с обещанием, что нам непременно будет предоставлено собственное жилье, мы переехали по просьбе Наташиного руководителя – профессора Ольги Михайловны Кожовой, дочери знаменитого ученого Михаила Михайловича Кожова), раньше нас переехавшей в Байкальск, во вновь организованный там институт со странным названием: «Экологической токсикологии».

А еще за два года до переезда в Байкальск, менее чем через год после рождения сына мне удалось осуществить свою давнишнюю мечту и поступить (где творческий конкурс, в том 1981 году был 40 человек на место) в Литературный институт имени Горького, на заочное отделение. С обязательными приездами на месячные сессии в Москву два раза в год.

Надо сказать, что Наташа, всегда верившая в меня и очень переживающая за меня, была, пожалуй, единственным человеком, по мере сил и возможностей поддерживающим почти все мои творческие начинания. Она перепечатывала на моей машинке «Уникс де Люкс», приобретенной мною в Москве на первый приличный гонорар, полученный за семь стихотворений в журнале «Юность», выходившем тогда миллионными тиражами. Исправляла ошибки в тексте. Поэтому после моего поступления в Литинститут она, пожалуй, радовалась не меньше меня. И с некоторым уже облегчением не раз говорила: «Вот видишь, если к чему-то стремиться, непременно добьешься своей цели. Надо только верить в себя и упорно трудиться».

И она точно знала, о чем говорит, поскольку была самым молодым кандидатом биологических наук в институте биологии, которым до переезда в Байкальск руководила ее учитель Ольга Михайловна Кожова. И диссертацию свою Наташа после окончания аспирантуры успешно защитила не абы где, а в МГУ!

И чем дольше мы с ней жили, тем больше мне казалось, что наша счастливая жизнь никогда не кончится. Может быть, именно поэтому на двенадцатый год после нашего возвращения

из Байкальска в Иркутск (мы по целому ряду обстоятельств вынуждены были обменять наш прекрасный деревянный коттедж, о котором я до сих пор жалею, на отнюдь не прекрасную, запущенную, правда, в центре города, квартиру) и прожив вместе со дня регистрации брака в общей сложности двадцать два года, мы с Наташей решили обвенчаться. Чтобы перевести наши отношения из сферы временной уже в иную сферу – Вечную. Полагая не расставаться и после смерти.

Венчание наше при единственном свидетеле – брате Наташи, Александре, состоялось 22 июля 2001 года (в первый год наступившего третьего тысячелетия) в соборе Богоявления, расположенном почти на берегу Ангары. Венчал нас рыжебородый веселый батюшка, отец Олег, с которым я был немного знаком и который, весело улыбаясь, пожелал нам обоим после официальной и очень торжественной церемонии: «Многая лета...»

Увы, пожеланиям его, на что мы оба так надеялись, не суждено было сбыться.

Восемнадцатого апреля (этот черный теперь для меня день) 2009 года из-за нелепой врачебной ошибки и невнимательности врачей Наташи не стало. И наше с сыном (которому к тому времени было уже 28 лет) счастье, казалось, закончилось навсегда. И лишь надежда на то, что я с Наташей непременно встречу в иной реальности, да еще поддержка сына, давали мне силы, особенно первое время, после ее ухода в мир иной продолжать жить дальше...

Однако жизнь, судьба ли все же благосклонны ко мне. И я к настоящему времени (а на дворе уже 2017 год) стал дважды дедом. Имея двух очаровательных (сын, как и я, женился после тридцати) внуков – Костика и Сашуню. Таких разных. Но таких одинаково любимых мною. И я жалею только о том, что Наташа их не увидела, не дождалась. Впрочем, может быть, она их видит?..

Младшенького мы вчера, сразу же после Покрова, в возрасте полутора лет окрестили в том же соборе Богоявления, где крестили и старшего, года два назад в том же возрасте, и где мы с Наташей когда-то венчались...

О крестинах младшего внука я сообщил Галине, с которой мы теперь общаемся не при помощи эпистолярного жанра, а при помощи электронных писем, доходящих до адресата почти мгновенно, отвечая заодно ей на все вопросы, заданные мне в ее электронном письме, пришедшем накануне крестин. В послании этом она, в частности, спрашивала меня: «Как там твои дела? Вернулся ли ты с дачи? Вышли ли у тебя где-то новые книги?..»

Я с нескрываемой гордостью ответил ей, что в московском издательстве «Вече», в классической серии «Сибириада» у меня вышло уже две книги. Роман «Не оглядывайся назад...», ставший, кстати, «бестселлером года» в Германии в 2015 году, и книга повестей и рассказов «Снег, уходящий вверх...» И что купить их можно в том числе и в Москве. И что в повести «Мы никогда уже не будем молодыми», есть строки и о ней самой...

«Кстати, повесть эта получилась, по-моему, очень неплохой. Если купишь книгу – прочти» – так закончил я свое электронное письмо. Получив через какое-то недолгое время от Галины такой ответ: «Она очень даже неплохая! Сколько чувств меня переполняло, когда я читала ее. И смех, и слезы. Как жаль, что мы никогда уже не будем молодыми. Опять плачу. 12 декабря 2017 г. 20.32».

А вот еще одно, тоже очень приятное и тоже распечатанное мною на бумагу электронное письмо, но уже от сына: «Папа, я подумал о том, как хорошо, что мы можем не только часто встречаться друг с другом, но еще и писать друг другу электронные письма. Тем более что они доходят до адресата почти мгновенно. Решил написать тебе, потому что перечитываю сейчас из книги «Снег, уходящий вверх...» повесть «Пристань души» (эта повесть о нашем с Наташей путешествии на моторной лодке нашего друга по осеннему Байкалу в ноябре 1982 года, с нашим двадцатимесячным сыном Димой). Хотел много всего написать, но никак не могу подобрать слов. Просто скажу, что мне очень нравится».

Ну, что ж, если судить по этим и многим другим отзывам на мои книги, поставленную пред собой задачу – стать писателем, я, кажется, выполнил. Не дотянув, правда, до планки – стать знаменитым писателем. Ибо я сейчас, в наше нечитающее время, если быть объективным, являюсь, пожалуй, широко известным в узких кругах своих единичных читателей литератором. Мнением своих читателей я тем не менее чрезвычайно дорожу, и понимаю, что, пока люди не разучатся читать – они не разучатся мыслить. А следовательно, и не превратятся в дикарей...

Подводя итог сего повествования, так много событий вместившего в себя, можно ли сказать, что жизнь удалась?..

Да, пожалуй, можно.

А вот сказать, так же естественно, как это было десять лет назад, когда в главной газете области «Восточно-Сибирской правде» – на целую полосу, по случаю моего шестидесятилетнего юбилея, появилась статья с моими словами в заголовке: «Я счастливый человек!..», я уже, скорее всего, вряд ли смогу. Слишком много до моего нынешнего, уже семидесятилетнего, юбилея (хотя юбилей это слово еврейское, означающее раз в сто лет) за эти десять лет случилось тягостных потерь. Нет уже ни моих родителей, ни моей жены, ни моей сестры – самых близких, дорогих мне людей. А терять близких людей, друзей (становящихся вдруг бывшими) – это, ох как болезненно – уходят ли они в мир иной или все еще продолжают жить.

А потерю в моей порою совсем не складной жизни было, увы, немало.

Правда, и чудесных приобретений тоже хватало.

И если считать, что счастье – это состояние человека, у которого ничего не болит – ни душа, ни совесть, ни тело, то есть, когда он находится в состоянии некой гармонии, в первую очередь с самим собой, и с окружающим миром, то я, пожалуй, все-таки счастливый человек.

У меня издано уже более 15 книг стихов и прозы. Мои рассказы переведены на семь европейских языков. Я был довольно близко знаком и даже дружил с такими выдающимися писателями современности, можно сказать, классиками литературы еще при их жизни, как Валентин Григорьевич Распутин и Виктор Петрович Астафьев, которые очень благожелательно отзывались о моих литературных опытах.

По моему рассказу «Загон» бывшей моей приятельницей Дзидрой Крикис на Рижской киностудии был снят короткометражный игровой фильм.

Мне посчастливилось как журналисту брать интервью у знаменитейших людей нашего времени – французского актера Алена Делона и там же, в Париже, у нашего знаменитого писателя, выдворенного в свое время из Советского Союза за вольнолюбивые высказывания, Владимира Емельяновича Максимова и режиссера Станислава Говорухина.

У меня была прекрасная жена, с которой мы счастливо прожили почти 29 лет.

У меня хороший сын, относящийся к своим двум сыновьям и ко мне, так же, как я когда-то относился (и отношусь до сих пор) к нему, с неиссякаемой любовью.

Я часто влюблялся. И был любим. И был нелюбим. В жизни не бывает только белого цвета.

Одним словом, все вроде бы совсем неплохо. Но отчего же порою так нестерпимо щемит сердце при воспоминании о ком-то или о чем-то, печалюсь, что нет в этом мире идеальной гармонии? О чем так, бывает, тоскует душа?

О несостоявшейся ли любви, увядшей некогда, как увяли те красивые красные бусы из плодов шиповника, которые носила на черной водолазке черноволосая девушка с рысьими глазами? Или о том, что все в этом мире проходит и вянет, как и сама наша жизнь. Притом так стремительно, так быстро. Как сказал поэт: «Жизнь прошла, а я и не заметил...»

Когда я писал эти строки 19 октября 2017 года, в день Пушкинского лица, мне вдруг припомнились печальные слова из его гениального стихотворного романа «Евгений Онегин»:



«Несносно думать, что напрасно была нам молодость дана. Что изменяли ей всечасно. Что обманула нас она. Что наши дерзкие мечтанья, что наши лучшие желанья – истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой...»

Да нет же, у меня вроде бы такого не случилось...

А чтобы привыкнуть к леденящему дыханию времени, надо просто усвоить для себя одну простую вещь:

Во Вселенной нет ничего случайного.

Случайным явление может выглядеть только в нашем физическом мире – в мире следствий. В глобальной взаимосвязи миров Вселенной любое явление строго закономерно.

И эта закономерность даже в том, что в жизни все бывает впервые.

И все бывает в единственном числе.

Каждый новый день. Каждый миг, прожитый нами.

Поэтому-то в жизни никогда и ничего не может повториться. А потому и надо научиться ценить каждое ее неповторимое мгновение, воспринимая это, как и саму жизнь, во всех ее проявлениях, как некий щедрый дар неведомого нам Творца, который любит нас уже только за то, что мы есть. Что мы появились (из миллионов невероятных случайностей) на этой земле, на этом свете...

## Праздник, который всегда...

*Не ищите факты, люди видят их по-разному, лучшие ищите дух.  
Дух важнее, чем факты.  
Гилберт Честертон*

*Умные люди очень редко бывают счастливы...  
Эрнест Хемингуэй*

С изречением Гилберта Кита Честертона, приведенным мною в первом эпиграфе, предшествующем сему еще не рожденному пока повествованию, я вполне согласен. Поскольку и сам, причем неоднократно, когда писал какую-нибудь вещь, убеждался в том, что дух некоего события, порою очень далекого и почти уже забытого в деталях, бывает значительно точнее и важнее фактов, хронологии – ее формальных деталей. И если ты почувствовал, поймал, вспомнил этот дух во всех его хранящихся где-то глубоко в твоей памяти ощущениях и переживаниях, то рассказ у тебя непременно получится. Даже в том случае, если ты не помнишь точно – ни в каком году произошли те или иные события, ни точные имена и фамилии так называемых «действующих лиц и исполнителей»...

Но и это самое существенное в данном процессе, что и читатель тоже сумеет почувствовать то, что чувствуешь ты. Этот аромат времени, пусть и не привязанный, в общем-то, ни к какой конкретике.

Что же касается второго изречения, вычитанного мною совсем недавно у моего любимого и, как казалось, не единожды прочитанного полностью Эрнеста Хемингуэя, оно меня не то чтобы расстроило, но, в общем-то, обескуражило, насторожило, озадачило, что ли. Заставило призадуматься, словом: «А не дурак ли я?» Поскольку считаю себя, не смотря ни на какие жизненные перипетии, порою весьма трагические, человеком все-таки счастливым. Хотя бы оттого, что могу заниматься своим любимым делом, приносящим мне неизъяснимую радость. Писать рассказы, останавливая тем самым, по собственному желанию и усмотрению, само время, запечатлевая его, будто консервируя, в некой неизменности. Как бы фотографируя моменты жизни (своей или чужой) то на цветную, а то, увы, и на черно-белую пленку...

Но ведь и Хемингуэй имел ту же счастливую возможность – писать рассказы, то есть творить. Создавая как бы иные, новые, параллельные миры, ранее никогда и нигде не существовавшие...

Более того, он даже написал об этом чудесную книгу – «Праздник, который всегда с тобой», над которой начал работать в 1956 году и вышедшую в 1964-м, после его смерти. Книга эта о Париже, о молодости самого автора и его жизни в этом прекрасном городе в начале двадцатых годов двадцатого века. Но основные действующие лица в данной книге – это все-таки не Париж, о котором Хемингуэй написал с такой любовью, и не художники-импрессионисты, только еще начинающие заявлять о себе в полный голос (Эдгар Мане и Клод Моне; Писсарро; Ренуар; Гоген, Сезанн; Сислей; Ван Гог и другие...), со многими из которых Хемингуэй был, кстати, знаком. Это и не сам автор книги, и не его первая жена Хэдли, с которой они жили в Париже в небольшой квартирке на улице Кардинала Лемуана, 74, около площади Контрэскарп. Об этом их жилище Хемингуэй потом напишет: «Здесь не было горячей воды и канализации. Зато из окна открывался хороший вид. На полу лежал удобный пружинный матрац, служивший нам удобной постелью. На стене висели картины, которые нам нравились. Квартира казалась светлой и уютной». Но, несмотря на то что жили они тогда весьма скудно (об этом периоде жизни, в Париже, особенно, когда Хемингуэй бросил журналистику и занялся только писательством, он впоследствии напишет чудесную вещь: «На выучке у голода»), они были счастливы.

И к почти ежедневному их основному блюду – луковому супу (что было молодой чете по средствам), тем не менее непременно покупали бутылку красного дешевого вина, особо не озабочиваясь скудостью своего питания. Ибо их обоих грела мысль о том, что Эрнест непременно станет настоящим писателем. И не просто писателем, а чемпионом в области литературы, как он сам о себе говорил.

Этой уверенности способствовало еще и то, что рассказы Хемингуэя, которые он продолжал теперь писать, не в Америке – дома – в Оук-Парке, недалеко от Чикаго; или на озере Валлун, где у семьи Хемингуэев был коттедж, а в Европе. В полупустых и полусонных после вчерашнего веселья парижских кафе. И, надо сказать, что рассказы его выгодно отличались от тогдашнего общего литературного потока своей искренностью, правдой жизни, яркостью образов и какой-то необычайной свежестью. Что, пожалуй, одним из первых еще в Америке заметил Шервуд Андерсен, по сути, считавшийся в то время почти уже классиком американской литературы. В своем рекомендательном письме в Париж к известной уже писательнице Гертруде Стайн (двадцатидвухлетний Хемингуэй, успев уже побывать на Первой мировой войне, в Италии в 1922 году как раз отправлялся в Европу, став собственным корреспондентом канадской газеты «Торонто дейли стар»), он писал, что молодой писатель «инстинктивно связан со всем настоящим, что есть в этом мире». За первые двадцать месяцев жизни в Париже он отослал в газету, в которой работал, 88 (!) рассказов. Он был молод, здоров, у него была прекрасная жена, любимое дело. Они жили с Хэдли, которая была старше его на восемь лет, в прекрасном городе. И, самое главное, они любили жизнь и друг друга, получая и от того и от другого немалое удовольствие...

Книги для чтения (в основном русских классиков – Толстого, Достоевского, Тургенева) Хемингуэй брал целыми пачками, причем бесплатно, в книжной лавке «Шекспир и компания», на улице Одеон, 12 у своей приятельницы Сильвии Бич – американской писательницы и издателя. Которая не только предоставляла Хемингуэю литературу, но и нередко ссужала его деньгами, частенько утешая, когда он сетовал на то, что его рассказы покупают только в Германии и почти совсем не покупают в Америке.

– Слушайте, Хемингуэй, – говорила она начинающему писателю, – не думайте о том, сколько вам сейчас платят за рассказы. Важно то, что вы можете их писать...

И она оказалась абсолютно права, поскольку в свое время, уже в Америке, за рассказ «Один рейс» Хемингуэю заплатили пять с половиной тысяч долларов. То есть по доллару за слово.

И это о ней, о Сильвии Бич, всегда поддерживающей его, Хемингуэй впоследствии напишет: «...И лучше нее ко мне никто никогда не относился».

Собственно, об этом – о любимом занятии, создании рассказов, и написана была потом книга «Праздник, который всегда с тобой». И ключевой фразой в ней, открывающей двери счастья, кроме всего прочего, была такая: «Этот блокнот и карандаш принадлежат мне. А я принадлежу им...» Тем более что, и довольно часто, кстати, в действительности происходит именно так. С какого-то момента ты начинаешь ощущать, что не ты выстраиваешь рассказ, а сам рассказ, уже начавший жить по своим неведомым порою и для самого автора законам, начинает выстраивать тебя. И ты чувствуешь, что начинаешь принадлежать пишущемуся тобой произведению. Поскольку настоящий рассказ – это не какой-то четкий, продуманный до мелочей план, а некие неясные, тревожащие душу ощущения. И порою получается, что только еще зарождающееся произведение будто бы своей собственной волей отбегает в сторону то, что намеревался сказать автор, унося и самого автора в неведомом, невидимом потоке на некий необитаемый, сказочный, чудесный остров в океане, о существовании которого создатель рассказа даже не подозревал...

И все пунктирно намеченное, еще невысказанное и, как тебе кажется, сокровенное, ты вынужден оставлять на потом. Чтобы перенести это все уже в другой рассказ, который в конеч-

ном итоге тоже, как правило, оказывается незавершенным, недописанным, невысказанным до конца, как предыдущие твои рассказы. И так до бесконечности. То есть до конца жизни. Поскольку полностью законченных произведений попросту не бывает. Как не бывает и полностью законченной жизни. В них – рассказах, всегда должна быть перспектива на будущее. Или, как говорил святой Августин: «Настоящее прошедшего – память. Настоящее настоящего – созерцание. Настоящее будущего – ожидание. А все это вместе – отсутствие времени или нашего представления о нем».

Именно вневременность, где есть и прошлое, и настоящее, и будущее и есть, по-моему, признак настоящего рассказа. Такого, например, как рассказ Хемингуэя «Что-то кончилось...»

Этот рассказ из раннего сборника писателя «В наше время», вышедшего в 1925 году, по моему мнению, будет современен всегда как раз потому, что в нем время будто отсутствует. А чувства героев – Ника и Марджори, подлинны и трогают читателя, будь то 20-е годы двадцатого века (когда был написан рассказ) или 20-е годы века нынешнего, уже двадцать первого...

Что и говорить, писалось «старине Хэму» в начале его творческого пути в Париже очень хорошо и почти легко. И это был действительно праздник, прежде всего духа...

А вот на Кубе, где уже всемирно известный писатель жил в пятидесятых годах прошлого века со своей четвертой, и, кажется, не столь уже горячо любимой, как первая жена Хэдли, женой Мери Уэлш, в своем поместье «Финка-Вихия», под Гаваной, особенно в последние годы, Хемингуэй писалось уже не так легко и просто. И проза из-под его пера (точнее, карандаша – поскольку он любил писать именно хорошо заточенным карандашом) выходила порою уже не такая свежая, как прежде. Хотя и очень хорошие книги: «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой» были тоже написаны на Кубе, где Хемингуэй в общей сложности прожил более двадцати лет. Но и «Острова в океане» – книга средненькая, тоже была написана в то время. А середнячком в чем угодно, будь то борьба на руках или ловля большой рыбы, Хемингуэй быть не хотел. Это его не устраивало. Однако ощущение, что дар твой, как песок или вода между пальцев, куда-то уходит, все чаще занимало его, делая мрачным...

Впрочем, повесть-притча «Старик и море», написанная в 1952 году, за которую писатель в 1954 году получил Нобелевскую премию в области литературы, тоже была написана на Кубе. Но даже эта повесть, на мой взгляд, главным в которой, по словам самого автора, было то, что «земля пребывает вовеки» и где важен стоицизм человека перед лицом Судьбы, когда он должен сохранять мужество и достоинство в любых обстоятельствах, гораздо слабее его ранних рассказов. Таких ярких. Таких кристально чистых, свежих, словно большие капли утренней росы на ровно подстриженных газонах парижских скверов, освещаемых первыми лучами восходящего солнца, играющими в этих каплях всеми семью цветами радуги. И сам Хемингуэй, конечно же, по-видимому, это понимал. А после пятидесяти пяти лет его начали донимать не только сомнения в своем таланте, но и болезни. Ухудшилось зрение. И Хемингуэй порою не только не мог писать, но даже и читать ему было трудно. А ведь он всегда говорил, что: «Каждый человек рождается для какого-то дела». И вот этого любимого дела у него, по сути, не стало. Не оттого ли он и выстрелил себе в голову из одного из своих охотничьих ружей? Будто бы подтвердив свое же высказывание: «Мужчина не должен умирать в собственной постели. Или в бою. Или пуля в лоб...»

Да, несомненно, что лучшее успокоительное средство от всех проблем – это смерть.

Но лишь в том случае, если ты атеист и в бессмертие не веришь.

Впрочем, вообще неверующих людей не бывает. Просто вера у всех разная. Кто-то верит в себя. Кто-то верит в Творца. Кто-то верит в Судьбу, в Рок. Хотя все-таки даже плывя на корабле под названием «Судьба», хочется быть на нем капитаном. Атеист верит в некую идею и в то, что весь этот прекрасный мир сотворился как-то сам собой и его можно, не испортив (хотя практика показывает как раз обратное), преобразить...

Был ли Хемингуэй атеистом?

Скорее всего – да. Хотя и принял католичество (скорее всего, формально, по требованию своей будущей жены, ревностной католички), перед своей второй женитьбой с Паулиной Пфайфер. Тем не менее это именно ему принадлежит высказывание: «Все мыслящие люди – атеисты». Но и другое изречение, вызывающее сомнение в приведенном выше высказывании, также принадлежит Хемингуэю. «Не судите о человеке по его друзьям, не забудьте, что у Иуды друзья были безупречны»...

Впрочем, не будем заострять наше внимание на сложных богословских темах, ибо, по моему мнению, каждый мыслящий человек непременно придет к мысли о Творце, и перейдем к темам житейским, хотя порою и не более легким.

Например, Хемингуэй довольно рано и правильно осознал многие вещи, до которых иные люди добираются уже лишь на закате жизни.

Непрестанное стремление богатых людей (к которым так тяготел друг и соперник по литературному творчеству Хемингуэя Скот Фицджеральд, о дружбе с которым Хемингуэй говорил: «У нас дружба с восторгом и враждебностью», не раз восклицавший, что: «Богатые – это совсем другие люди, они непохожи на нас с вами!» Соглашаясь с ним, Хемингуэй только добавлял: «Да, у них денег больше») к тому, чтобы каждый день превратить в беззаботное веселье, в праздник! В некий наркоз, забытие, где нет места мыслям о смерти, а есть только постоянно бурлящее веселье. Жизнь без забот Хемингуэй воспринимал весьма критически. Хотя на какое-то недолгое время и сам увлекся подобными веяниями. Очень скоро осознав, что подобное бесцельное времяпрепровождение – это не жизнь, а иллюзия жизни, и что это не праздник, а лишь суррогат праздника. Вовремя понял он и то, что деньги – большие деньги – это не тождество счастья. Или, как сказала об этом же уже другая писательница, Франсуаза Саган, это груз, мешающий набрать высоту. Они хороший слуга, но очень плохой хозяин.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.